



ДНЕВНИК ОДНОГО ТЕЛА

Речь идет не о трактате по физиологии, а о моем сокровенном, о некоем тайнике души, который мы воспринимаем как нечто самое обыденное...



ДАНИЭЛЬ ПЕННАК

Даниэль Пеннак
Дневник одного тела
Серия «Index Librorum (Эксмо)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6884138

Даниэль Пеннакю Дневник одного тела: Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-72225-9

Оригинал: Daniel Pennac, "Journal D'un Corps"

Перевод:

Серафима Юрьевна Васильева

Аннотация

«Дневник одного тела» – книга-провокация, книга-вызов. Герой Даниэля Пеннака ведет дневник своего тела – предельно откровенный, шокирующий. У него нет необходимости скрывать от самого себя слабости, фобии, низменные желания.

День за днем он исследует собственное тело, свои ощущения и переживания.

Мальчик – юноша – зрелый мужчина – старик. Каждый этап жизни героя сопровождается новыми открытиями, изменениями в его восприятии самого себя.

И мы понимаем, как заблуждаются те, кто разделяет духовное и телесное, считая первое возвышенным, второе же – низким и обыденным. Душа и тело связаны, и, по сути, всю жизнь человека можно уложить в те изменения, которые происходят с его телом.

Содержание

Предисловие	5
1	8
2	11
3	38
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Даниэль Пеннак Дневник одного тела



Даниэль Пеннак – один из самых известных в мире французских писателей.

«Собака пес» и «Глаз волка», которые невозможно читать без слез и которые не забываются спустя годы после прочтения, «черные детективы» и детские книги, сатира и эссе – палитра жанров Пеннака пестра и чрезвычайно разнообразна.

В своем эссе о чтении «Как роман» писатель формулирует «неотъемлемые права читателя», одно из которых – «не читать». Но вряд ли человек вдумчивый и ценящий талантливую прозу захочет воспользоваться этим правом в отношении книг самого Пеннака.

Предисловие

Моя дорогая Лизон – мой старый, незаменимый и очень непростой друг Лизон – обладает даром делать страшно неудобные подарки, вроде этой незаконченной скульптуры, занимающей две трети моей комнаты, или холстов, которые она развешивает на просушку у меня в коридоре и в столовой под предлогом, что у нее в мастерской стало слишком тесно. Вы держите в руках последнее ее подношение – последнее по времени. Как-то утром она явилась ко мне, расчистила место на столе, где я только-только собрался позавтракать, и вывалила на него грудку тетрадей, оставленных ей недавно умершим отцом. Судя по покрасневшим глазам, она читала их всю ночь. Тем же самым занимался в следующую ночь и я. С отцом Лизон – молчаливым, ироничным, прямым, как восклицательный знак, осененным международной славой старого мудреца, которой он не придавал никакого значения, – я встречался раз пять или шесть в жизни и всегда робел перед ним. И если есть что-то такое, чего я в нем и представить себе не мог, так это то, что он всю свою жизнь писал эти записки! Совершенно огорошенный, я спросил мнения моего друга Постеля, долгое время бывшего его личным врачом (точно так же, как он был врачом семьи Малоссенов). Ответ последовал в ту же секунду. Публиковать! Без колебаний. Отправляй это своему издателю, и публикуйте! Оставалась одна проблема. Убедить издателя опубликовать рукопись известного человека, требуя при этом сохранить имя автора в тайне, – дело непростое! Должен ли я испытывать угрызения совести, вынудив честного и респектабельного труженика печатного слова оказать мне такую милость? Судить вам.

Д. П.

* * *

3 августа 2010 года

Милая моя Лизон!

Вот ты и пришла с моих похорон, вернулась к себе домой, грустишь поди, правда? Но тебя ждет Париж, твои друзья, твоя мастерская, несколько незаконченных картин, твои многочисленные проекты, среди которых декорации для Оперы, политика, будущее близняшек – тебя ждет жизнь, твоя жизнь. И вот пришла ты домой, а там – сюрприз, письмо от мэтра Р., которым он в нотариальных выражениях извещает, что у него имеется некий пакет, оставленный твоим отцом и предназначенный лично тебе. Ну и ну, подарочек от папы с того света! Ты, конечно, сразу же бежишь туда. И нотариус вручает тебе занятный презент – мое тело, ни больше и не меньше! Нет, конечно, не настоящее тело из плоти и крови, а посвященный ему дневник, который я пописывал потихоньку на протяжении всей жизни. (Только твоя мама знала – в последнее время.) Вот такой, значит, сюрприз. Папа вел дневник! Что это на тебя нашло, папа? Ты, такой утонченный, такой недоступный, и вдруг – дневник! Да еще и на

протяжении всей жизни! Но не личный дневник, доченька, ты же знаешь мое предубеждение против всех этих подробных описаний изменчивых состояний души. И о моей профессиональной деятельности ты там тоже ничего не найдешь, как и о моих убеждениях, о лекциях, которые Этьен высокопарно называл моими «сражениями», – ничего ни об общественной жизни твоего отца, ни о мире вообще. Нет, Лизон, это действительно дневник моего тела.

Ты будешь тем более удивлена, что твой отец никогда не был особо «физическим». Думаю, ни мои дети, ни внуки ни разу не видели меня голым, разве что в купальном костюме, и то очень редко, и уж никогда им не случилось наблюдать, как я поигрываю бицепсами перед зеркалом. Думаю также, что я – увы – не был особенно щедр на ласки. А уж говорить с вами – с тобой и Брюно – о своих болячках – боже упаси! Лучшие умереть, что, впрочем, и произошло, но только после того, как дни мои были хорошенько сочтены. Тело никогда не было темой наших разговоров, и я предоставил вам с Брюно самим разбираться с вашими развивающимися телами. Только не подумай, что это всё от равнодушия или от какого-то особенного целомудрия; я родился в 1923 году и был просто обыкновенным буржуа своего времени, из тех, кто употребляет точку с запятой и никогда не выходит к завтраку в пижаме, а непременно после душа, свежесвыбритым и надлежащим образом затянутым в дневной костюм. Тело – это изобретение вашего поколения, Лизон. По крайней мере, в том, что касается его использования и демонстрации. А вот взаимоотношения, которые поддерживает с нашим телом – этим мешком с сюрпризами, этим насосом, неутомимо качающим отходы нашей жизнедеятельности, – наше сознание, обходят таким же глубоким молчанием, как и в мое время. Если приглядеться повнимательнее, можно было бы заметить, что нет людей целомудреннее, чем самые беситанные порноактеры и самые голые труженики боди-арта. Что же касается врачей (кстати, когда тебя последний раз прослушивали?), наших, сегодняшних, то тут все просто: они до тела уже не дотрагиваются. Оно стало для них чем-то вроде клеточного пазла: его просвечивают рентгеном, делают ему эхографию, сканируют, исследуют, – тело биологическое, генетическое, молекулярное, чуть ли не антитело. А знаешь, что я тебе скажу? Чем больше его исследуют, чем больше разглядывают, тем меньше его становится. Оно аннулируется обратно пропорционально энтузиазму, с которым его выставляют напоказ.

Свой дневник я писал о другом теле – о нашем спутнике, о машине, благодаря которой мы существуем. Правда, дневник – это слишком сильно сказано, не думай, что ты найдешь в нем какие-то исчерпывающие сведения, нет, это вовсе не описание моей жизни от двенадцатого до восьмидесят восьмого и последнего года, день за днем, скорее – сюрприз за сюрпризом (на них наше тело не скупится), между которыми будут долгие пропуски, ты сама увидишь, там, на жизненных пляжах, где тело позволяет себе забыться, а нам – забыть о нем. Но всякий раз, когда мое тело являлось моему сознанию, оно заставляло меня с пером в руке, готовым со вниманием вникнуть в очередной его сюрприз. И эти явления я описывал как можно тщательнее, используя подручные средства, без малейшей претензии на какую-либо научность. Таково, возлюбленная моя дочь, мое

наследство: речь идет не о трактате по физиологии, а о моем сокровенном, о некоем тайнике души, который во многих отношениях мы воспринимаем как нечто самое обыденное. Я доверяю его тебе. Почему именно тебе? Потому что я обожал тебя всю свою жизнь. Я не говорил тебе этого при жизни, так доставь же мне посмертное удовольствие и позволь признаться в этом. Если бы Грегуар был жив, я, конечно же, завещал бы этот дневник ему: он заинтересовал бы его как врача и повеселил бы как моего внука. Господи, как я любил этого мальчика! Грегуар, так рано умерший, и ты, ставшая бабушкой, – вот мое счастье, мои пожитки, мои припасы на дальнюю дорогу. Ладно. Хватит излияний. Поступай с этими тетрадями как тебе заблагорассудится. Отправь их на помойку, если мой подарок покажется тебе неуместным, поделись с родными, если так подскажет тебе сердце, опубликуй, если сочтешь нужным. Но в этом случае позаботься об анонимности автора – тем более что он мог бы быть все равно кем, – измени имена людей и географические названия, а то как бы кого-нибудь не обидеть. Не стремись издать все полностью – ты из этого не выберешься. Впрочем, несколько тетрадей за долгие годы потерялось, а в других – сплошные повторы. Пропусти их – я имею в виду, к примеру, детские, где я подсчитывал свои подтягивания на турнике и упражнения для брюшного пресса, или юношеские, в которых с непредвзятостью независимого ревизора я составлял список своих любовных похождений. Короче говоря, делай со всем этим что хочешь, как хочешь – что ни сделаешь, все будет хорошо.

Я любил тебя.

Папа

1

Первый день (Сентябрь 1936 года)

Мама – единственная, кого я не позвал.

64 года, 2 месяца, 18 дней

Понедельник, 28 декабря 1987 года

Грегуар с приятелем подшутили сегодня над малышкой Фанни, и их дурацкая шутка напомнила мне самую первую сцену этого дневника, травму, из-за которой он и появился на свет.

Мона, которая обожает устраивать чистки и уборки, приказала сжечь на костре старый хлам, хранившийся в доме со времен Манеса: колченогие стулья, продавленные матрасы, изъеденную жучком тележку, старые автопокрышки – получилось гигантское вонючее аутодафе (выглядевшее все же не так зловеще, как какая-нибудь свалка). Она поручила это дело мальчикам, которые тут же решили поиграть в суд над Жанной д'Арк. Меня оторвали от работы вопли малышки Фанни, которую взяли на роль святой. Весь день Грегуар с Филиппом расписывали ей заслуги Жанны д'Арк, о которой Фанни в свои шесть лет и слыхом не слыхивала. Они так блестяще обрисовали ей преимущества райской жизни, что малышка захлопала в ладоши и запрыгала от радости в предвкушении жертвы. Но стоило ей увидеть костер, в который ее предполагалось бросить живьем, как она с воплями кинулась ко мне (Моны, Лизон и Маргерит не было дома). Она вцепилась в меня крохотными ручками, словно перепуганная птичка коготками. Дедушка! Дедушка! Я попытался утешить ее при помощи обычных «ну-ну-ну», «все прошло», «ничего страшного» (на самом-то деле все как раз было очень даже страшно, но я на тот момент был не в курсе их планов относительно этой канонизации). Я усадил ее к себе на колени и почувствовал, что она вся мокрая. Более того – она даже наложила в штанишки, то есть обделалась от страха. Сердечко ее билось с ужасающей скоростью, и она часто-часто дышала. У нее были так стиснуты зубы, что я даже испугался, уж не столбняк ли это. Я посадил ее в горячую ванну, и там она рассказала – урывками, между остатками рыданий, – о том, какую судьбу уготовили ей эти болваны.

И вот я перенесся в прошлое, в день, когда завел этот дневник. Сентябрь 1936 года. Мне двенадцать лет, почти тринадцать. Я скаут. До этого я был «волчком» – эти звериные названия вошли в моду благодаря «Книге джунглей». Теперь я настоящий скаут, то есть – и это важно – я больше не «волчонок», я уже не маленький, я – взрослый. Заканчиваются летние каникулы. Я – в скаутском лагере где-то в Альпах. Мы воюем с другим отрядом, противник украл у нас вымпел. Надо идти и отбить его. Правила игры просты. Каждый из нас носит галстук, концы которого заправлены за пояс шортов. И наши противники тоже. Этот галстук называется «жизнь». Из вылазки мы должны вернуться не только с нашим вымпелом, но и принести с собой как можно больше «жизней». Мы называем их еще скальпами и подвешиваем к поясу. Тот, кто принесет больше всего «скальпов», – грозный воин, великий охотник и настоящий ас – как те летчики Первой мировой, которые украшали фюзеляж своих машин немецкими крестами – по числу сбитых самолетов. Короче говоря, мы играем в войну. Поскольку меня не назовешь здоровяком, я теряю жизнь в самом начале военных действий. Я попал в засаду. Двое врагов прижимают меня к земле, а третий срывает с меня «жизнь». Потом они привязывают меня к дереву, чтобы я, пусть даже мертвый, не попытался снова ввязаться в бой. И оставляют. Посреди леса. Привязанного к сосне, с измазанными смолой голыми ногами и руками. Враги отступают. Фронт удаляется, я слышу время от вре-

мени выкрики, но они становятся все глуше, и наконец все смолкает. На меня обрушивается непомерная тишина. Та самая лесная тишина, которая состоит из множества звуков: потрескивание, шуршание, какие-то вздохи, попискивание, шум ветра в кронах деревьев... Ну вот, думаю я, сейчас появятся звери, потревоженные нашими играми. Не волки, конечно, — я же взрослый, я не верю в волков-людоедов, — нет, не волки, а, к примеру, кабаны. Что может сделать кабан привязанному к дереву мальчику? Да ничего, конечно, он просто его не тронет. А если это будет самка с детенышами? Но мне все же не страшно. Просто интересно, все хочется знать, вот я и задаю себе соответствующие вопросы. Чем сильнее я дергаюсь, пытаюсь освободиться, тем туже затягиваются веревки и тем плотнее прилипает к моей коже смола. А если она засохнет? Ясно одно: самому мне не освободиться, скауты знают толк в вязании узлов — нипочем не развяжешь. Мне очень одиноко, но я не думаю о том, что меня никогда не найдут. Я знаю, что в этом лесу бывают люди, мы часто встречаем здесь любителей пособирать чернику или землянику. Я знаю, что, как только закончатся боевые действия, кто-нибудь придет и меня отвяжет. Даже если враги про меня позабудут, ребята из моего отряда заметят, что меня нет, скажут кому-нибудь из взрослых, и меня освободят. Так что мне не страшно. Я терпеливо переношу приключившуюся со мной неприятность. Рассудок без труда справляется со всем, что сложившаяся ситуация подкидывает моему воображению. Вот муравей ползет по моему ботинку, потом по голый ноге, мне немного щекотно. Этому одинокому муравью не сокрушить мой здравый смысл. Сам по себе он совершенно безобиден — так я считаю. Даже если он меня укусит, даже если заползет под шорты, а потом дальше — в трусики, ничего страшного, я вытерплю. В лесу муравьиный укус — обычное дело, я знаю эту боль, вполне терпимо, кольнет, а потом быстро проходит. В таком состоянии духа я пребываю, пока на глаза мне не попадается муравейник — в двух-трех метрах от моего дерева, у подножия другой сосны: огромный курган из сосновых иголок, кишачий темной, дикой жизнью, неподвижный, но при этом полный чудовищного движения. А когда я вижу, как на ногу мне заползает второй муравей, я окончательно теряю контроль над своим воображением. Какие укусы? Сейчас муравьи облепят меня всего с ног до головы и сожрут заживо! Воображение не рисует мне детальной картины: я не представляю себе, как муравьи поползут по моим ногам, как они вцепятся в мой пенис, сожрут анус или заползут внутрь меня через глазницы, уши, ноздри, как они будут пожирать меня изнутри, разгуживая по моим кишкам и пазухам, я не представляю себя в виде живого муравейника, привязанного веревками к сосне, не вижу, как эти трудяги стройными рядами вылезают из моего мертвого рта, перенося меня, крупица за крупицей, в этот жуткий желудок, кишачий в трех метрах от меня, — нет, я не пытаюсь представить себе эти пытки, но все они звучат в вопле ужаса, который я исторгаю, зажмурившись и широко раскрыв рот. Это крик о помощи, и он, должно быть, накрывает весь лес и весь мир, простирающийся за его пределами, в этом пронзительном крике мой голос рассыпается на тысячу иголок. Все мое тело кричит этим надрывным голосом — голосом маленького мальчика, которым я снова стал, — и мои сфинктеры тоже, они орут так же пронзительно, как и мой широко раскрытый рот, кишечник опорожняется, я чувствую, как тяжелеют шорты, вот уже течет по ногам, мешаясь со смолой и удваивая мой ужас, потому что, думаю я, запах привлечет еще больше муравьев, и мои легкие рвутся в клочья от криков о помощи, я весь в слезах, в слюне, в соплях, в смоле и в дерьме. В то же время я прекрасно вижу, что муравейнику нет до меня никакого дела, он продолжает сосредоточенно трудиться, заниматься своими бесчисленными делами, что остальные муравьи — миллион, не меньше, — совершенно меня игнорируют, я вижу это, осознаю, понимаю, но — поздно, страх победил, у того, что я испытываю, нет ничего общего с действительностью, это не я, а мое тело, всё, целиком, кричит от ужаса, от страха быть съеденным заживо, и этот страх — порождение одного только моего сознания, муравьи тут ни при чем, я смутно понимаю это, и позже, когда аббат Шапелье спросит меня, неужели я

правда думал, что муравьи могут меня съесть, я отвечу, что нет, и когда он потребует, чтобы я признал, что просто разыграл комедию, я отвечу, что да, и когда он спросит, неужели мне так нравится пугать своими воплями прохожих, которые меня в конце концов отвязали, я отвечу, что не знаю, и неужели тебе не было стыдно вернуться к товарищам в таком виде – подумать только, весь в дерьме, как младенец, я отвечу, что стыдно; все эти вопросы он задает, поливая меня из шланга, чтобы смыть основную грязь, прямо в одежде, а ведь это – форма, позволь тебе напомнить, форма скаутов, ты задумался хоть на секунду, что могут подумать о скаутах люди, которые тебя нашли? Нет, простите, я не подумал об этом. Нет, но все же, скажи мне правду, эта комедия тебе доставила хоть какое-то удовольствие? Только не ври, не говори, что тебе не было весело! Ведь весело же, правда? Кажется, я не сумел ответить на этот вопрос, ведь я еще не вел тогда этот дневник, в котором в течение всей своей последующей жизни стремился отделять тело от сознания и защищать его, тело, от нападков собственного воображения, а воображение – от несвоевременных и неуместных проявлений тела. А что скажет твоя мама? Ты подумал, что на все это скажет твоя мама? Нет, нет, о маме я совсем не подумал, и, когда он задал этот вопрос, я вспомнил, что единственный человек, которого я не позвал, пока орал там в лесу, была мама; мама – единственная, кого я не позвал.

Из лагеря меня отчислили и отправили домой. За мной приехала мама. А на следующий день я начал этот дневник такими словами: «Не буду больше бояться, не буду больше бояться, не буду больше бояться, никогда не буду больше бояться».

2
12—14 лет
(1936—1938)

Если надо быть похожим на это, на это я и буду похож.

12 лет, 11 месяцев, 18 дней

Понедельник, 28 сентября 1936 года

Не буду больше бояться, не буду больше бояться, не буду больше бояться, никогда не буду больше бояться.

* * *

12 лет, 11 месяцев, 19 дней

Вторник, 29 сентября 1936 года

Чего я боюсь:

- Маму.
- Зеркала.
- Ребят. Особенно Фермантена.
- Насекомых. Особенно муравьев.
- Боли.
- Боюсь обделаться от страха.

Идиотский список. Я всего боюсь. В любом случае, страх всегда накатывает неожиданно. Сначала ты и не ждешь ничего такого, а через две минуты сходишь с ума от страха. Как тогда в лесу. Мог ли я подумать, что испугаюсь пары муравьев? Почти в тринадцать-то лет! И еще до муравьев, когда те, враги, напали на меня, я же сразу упал на землю, даже не подумав защищаться. Я позволил им отнять мою жизнь и привязать себя к дереву, как мертвого. Я и правда был мертвый – мертвый от страха!

Что делать, чтобы побороть страх:

- Боишься маму? Поступай так, как если бы ее не было на свете.
- Боишься ребят? Сам заговори с Фермантеном.
- Боишься зеркал? Посмотри на себя в зеркало.
- Боишься боли? Страх – самая сильная боль.
- Боишься обделаться? Твоя трусость омерзительнее всякого дерьма.

Есть все же что-то еще более идиотское, чем список вещей, которых я боюсь, – это список каких-то решений. Я же никогда их не выполняю.

* * *

12 лет, 11 месяцев, 24 дня

Воскресенье, 4 октября 1936 года

После того, как меня выгнали из лагеря, мама все время сердится. Сегодня вечером она вытащила меня из таза в ванной – я еще и намылиться не успел. Она заставила меня взглянуть в зеркало. Я даже не вытерся. Она держала меня за плечи, как будто я сейчас удеру. Мне даже было больно. Она все твердила, посмотри на себя, посмотри на себя! Я сжал кулаки и закрыл глаза. А она все кричала. Открой глаза! Посмотри на себя! Только посмотри

на себя! Мне было холодно. Я стиснул зубы, чтобы они не стучали. Я дрожал всем телом. Мы не выйдем отсюда, пока ты на себя не посмотришь! Посмотри на себя! Но я не открывал глаз. Не хочешь открыть глаза? Не хочешь взглянуть на себя? Опять эти комедии? Ну ладно! Хочешь, чтобы я сама сказала тебе, на что ты похож? На что похож мальчик, которого я вижу? На что он, по-твоему, похож? На что ты похож? Сказать тебе? Сказать? Ни на что ты не похож! Абсолютно ни на что! (Я пишу в точности *всё*, что она говорила.) Она вышла, хлопнув дверью. А я открыл глаза и увидел запотевшее зеркало.

* * *

12 лет, 11 месяцев, 25 дней

Понедельник, 5 октября 1936 года

Если бы папа присутствовал при этом мамином припадке, он сказал бы мне на ухо: Мальчик, который ни на что не похож, надо же, а это ведь *очень интересно!* На что, *в самом деле*, должен быть похож мальчик, который *абсолютно* ни на что не похож? На экорше из «Ларусса»? Когда папа хотел подчеркнуть какое-нибудь слово, он произносил его как будто курсивом. Потом умолкал, давая мне время поразмыслить. Я думаю про экорше из «Ларусса», потому что мы с папой много занимались анатомией и изучали ее по этому экорше. Я знаю, как устроен человек. Я знаю, где находится селезеночная артерия, знаю названия каждой косточки, каждого нерва, каждого мускула.

* * *

13 лет, день рождения

Суббота, 10 октября 1936 года

Мама опять устроила Додо номер с носовым платком. Конечно же, она дождалась обеда, чтобы все были в сборе. Додо передавал закуски. Она попросила его «соизволить» поставить тарелки и слегка притянула к себе – как будто чтобы приласкать. Но вместо этого достала свой платок, провела ему за ушами, на сгибе локтя, под коленкой. Додо стоял как деревянный. Разумеется, платок (который мама продемонстрировала окружающим!) стал не таким белоснежным, каким был. Ногти тоже были не такими как надо. Если ты такой грязнуля, нечего строить из себя благородную барышню! Идите к себе и смойте с себя грязь, молодой человек! А Виолетт она сказала, указывая пальцем на Додо: «Прошу вас проследить! И про пупок пусть не забудет! Даю вам десять минут». В моменты злобы мама всегда начинает говорить веселым девчоночьим голосом.

Когда я был маленький и Виолетт умывала меня, она рассказывала, как было грязно при дворе Людовика XIV, да так, будто сама там побывала. Ах! Там так пахло, ты не поверишь! Эти люди все время поливались духами, ну, знаешь, как некоторые запихивают мусор под ковер, чтобы не было видно. А еще Виолетт нравится вот эта записка Наполеона Жозефине (он возвращался тогда из Египетского похода): «Не мойся, я еду». Я только хочу сказать, дружок, что нам вовсе не обязательно пахнуть жасмином, чтобы быть любимыми. Только никому не говори!

Кстати о чистоте: как-то, когда я тер папе спину волосистой перчаткой, он сказал: Ты никогда не задумывался, куда девается вся эта человеческая грязь? Что мы пачкаем, когда моемся сами?

* * *

13 лет, 1 месяц, 2 дня

Четверг, 12 ноября 1936 года

Я сделал это! Сделал! Я стянул простыню со шкафа у себя в комнате и посмотрелся в зеркало! Я решил: все, хватит! Сбросил простыню, сжал кулаки, глубоко вздохнул, открыл глаза и взглянул на себя! *Я ПОСМОТРЕЛ НА СЕБЯ!* Я как будто в первый раз себя видел. Долго-долго стоял перед зеркалом. На самом деле там, внутри, был не совсем я. Это было мое тело, а не я. И это был даже не какой-то приятель. Я все повторял: Ты – это я? Я – это ты? Это мы? Я не сумасшедший, я прекрасно знаю, что просто играл, что это не я, а какой-то мальчик, которого забыли в глубине зеркала. Я спрашивал себя, сколько времени он там находится. Такие игры, от которых мама просто выходит из себя, папу совершенно не пугают. Сынок, ты не сумасшедший, *ты играешь со своими ощущениями*, как все дети в твоём возрасте. Ты прислушиваешься к ним, у тебя возникают вопросы. И это будет продолжаться всегда. Даже когда ты вырастешь и станешь взрослым. Даже когда состаришься. Запомни хорошенько: *всю жизнь нам приходится делать над собой усилие, чтобы поверить нашим чувствам.*

Мое отражение действительно выглядело как забытый в моем зеркальном шкафу мальчик. Это ощущение было абсолютно верным. Сдергивая простыню, я знал, что увижу, но все равно это стало для меня сюрпризом, как будто этого мальчика забыли там еще до моего рождения. Я долго разглядывал его.

И тут в голову мне пришла мысль.

Я вышел из своей комнаты, на цыпочках прошел в библиотеку, открыл «Ларусс», вырвал по линейке таблицу с экорше (никто ничего не заметит, мама берет «Ларусс», только чтобы подложить его под попу Додо, когда мы обедаем в столовой), вернулся к себе, закрылся на задвижку, разделся догола, засунул экорше в щелку зеркала и принялся нас сравнивать – его и себя.

Оказалось, что у нас с ним нет *ничего общего* – абсолютно. Экорше – взрослый, к тому же он – атлет. У него широкие плечи. Он держится прямо и твердо стоит на мускулистых ногах. А я ни на что не похож. Я – мальчик, хилый, бледный, с впалой грудью, такой худой, что под мои лопатки можно просовывать почту (говорит Виолетт). Правда, одна общая черта у нас с ним все же имеется: мы оба *прозрачные*. У нас обоих видны все вены, у обоих можно пересчитать кости, только у меня не видно ни одного мускула. Одна кожа, сосуды, дряблое мясо и кости. Никакой твердости, как сказала бы мама. Это правда. И поэтому любой может отнять у меня жизнь, привязать меня к дереву, бросить в лесу, мыть из шланга, насмехаться надо мной и говорить, что я ни на что не похож. Ты ведь тоже не стал бы меня защищать, а? Ты бросил бы меня на съедение муравьям! Насрать тебе на меня!

А вот я буду тебя защищать! Даже от самого себя! Я наращу тебе мускулы, укреплю нервы, буду заниматься тобой каждый день, интересоваться *всем*, что ты *чувствуешь*.

* * *

13 лет, 1 месяц, 4 дня

Суббота, 14 ноября 1936 года

Папа говорил: Каждый предмет – это *прежде всего* – предмет интереса. Значит, мое тело тоже предмет интереса. Я буду вести дневник моего тела.

* * *

13 лет, 1 месяц, 8 дней

Среда, 18 ноября 1936 года

Я хочу вести дневник моего тела еще и потому, что все вокруг говорят о другом. Тела у людей *заброшены, заперты в зеркальных шкафах*. Те, кто ведет дневник – обыкновенный, – к примеру, как Люк или Франсуаз, болтают в нем обо всем и ни о чем, описывают свои чувства, переживания, рассказывают всякие истории про друзей, про любовь, про измены, оправдываются без конца, пишут, что они думают о других или что другие, как они считают, думают о них, про путешествия, про прочитанные книги, а о своем теле – никогда ни слова. Я заметил это прошлым летом с Франсуаз. Она прочитала мне свой дневник – «по большому секрету», хотя она всем его читает, – мне Этьен сказал. Она пишет под влиянием эмоций, но почти никогда не помнит, что это были за эмоции. Зачем ты это написала? Не знаю, не помню. Получается, она и сама не уверена в смысле того, что написала. А вот я хочу, чтобы то, что я пишу сегодня, и через пятьдесят лет означало бы то же самое. В точности! (Через пятьдесят лет мне будет шестьдесят три года.)

* * *

13 лет, 1 месяц, 9 дней

Четверг, 19 ноября 1936 года

Поразмыслив еще раз над своими страхами, я составил вот такой список ощущений: от страха пустоты у меня сжимаются яйца, от страха быть побитым я впадаю в ступор, от страха испугаться на меня нападает тоска, от тоски у меня начинаются колики, от волнения (даже приятного) я покрываюсь гусиной кожей, от воспоминаний (например, при мысли о папе) у меня выступают слезы, от неожиданности (даже от хлопанья двери!) я вздрагиваю, при паническом страхе мне сразу хочется писать, от малейшего огорчения я плачу, от ужаса – задыхаюсь, от стыда сжимаюсь в комок. Мое тело реагирует на всё. Только я не всегда знаю, как именно оно отреагирует.

* * *

13 лет, 1 месяц, 10 дней

Пятница, 20 ноября 1936 года

Я долго думал. Если я буду описывать *в точности* все, что чувствую, мой дневник станет *послом* – посредником между моим сознанием и телом. *Переводчиком* моих ощущений.

* * *

13 лет, 1 месяц, 12 дней

Воскресенье, 22 ноября 1936 года

Я буду описывать не только сильные ощущения, сильные страхи, болезни, несчастные случаи, а абсолютно всё, что чувствует мое тело (или ощущения, которые внушает моему телу сознание). Например, нежное прикосновение ветерка к коже, шум тишины внутри меня, когда я затыкаю себе уши, запах Виолетт, голос Тижо. У Тижо уже тот же голос, каким будет у него, когда он вырастет, – *шершавый*, словно посыпанный песком, как будто он выкуривает по три пачки сигарет в день. Это в три-то года! Когда он вырастет, его голос, конечно,

не будет уже таким тонким, но это будет тот же самый шершавый голос со смехом, прячущимся за каждым словом, я уверен. Как говорит Виолетт по поводу гневных вспышек Манеса: Кричи не кричи, а голос – какой он есть, такой и будет!

* * *

13 лет, 1 месяц, 14 дней
Вторник, 24 ноября 1936 года

Наш голос – это пение ветра, пролетающего сквозь наше тело. (Ну, конечно, если он не вылетает через низ.)

* * *

13 лет, 1 месяц, 26 дней
Воскресенье, 6 декабря 1936 года

Когда я вернулся из Сен-Мишеля, меня вырвало. Ненавижу, когда меня рвет. Чувствуешь себя каким-то вывернутым мешком. Тебя самого выворачивает наизнанку. Причем судорожно. Сдирая кожу. Ты сопротивляешься, но тебя все равно выворачивает. И все, что было внутри, вываливается наружу. В точности как когда Виолетт сдирает шкурку с кролика. И все видят твою изнанку. Вот что такое, когда рвет. Мне становится стыдно, и я прихожу от этого в бешенство.

* * *

13 лет, 1 месяц, 28 дней
Вторник, 8 декабря 1936 года

Прежде чем что-то записывать, обязательно сначала успокоиться.

* * *

13 лет, 2 месяца, 15 дней
Пятница, 25 декабря 1936 года

Вчера вечером мама преподнесла мне подарок, задав такой вопрос: Ты *правда* считаешь, что заслужил подарок на Рождество? Я вспомнил про скаутов и сказал, что нет. Но главным образом потому, что мне от нее ничего не надо. Дядя Жорж подарил мне две двухкилограммовые гантели, а Жозеф – специальный снаряд для накачивания мускулатуры, который называется эспандер. Это пять таких резиновых шнуров, приделанных к деревянным рукояткам. Надо браться за рукоятки и растягивать эспандер столько раз, сколько сможешь. В инструкции помещена фотография одного дяденьки до того, как он приобрел эспандер, и через полгода после покупки. Его просто не узнать. Грудная клетка увеличилась в два раза, а поднимающие мышцы так накачались, что шея у него стала как у быка. А ведь он занимался всего по *десять минут в день*.

* * *

13 лет, 2 месяца, 18 дней
Понедельник, 28 декабря 1936 года

Мы с Этьеном играли в обморок. Было здорово. Один встает у другого за спиной, обхватывает его руками и что есть силы стискивает грудь, а тот в это время выдыхает из легких весь воздух. Один раз, два, три, а когда воздуха в груди больше не остается, в ушах начинается шуметь, голова кружится, и ты падаешь в обморок. Такая прелесть! Этьен говорит, тебя как будто *уносит* куда-то. Ага, или как будто падаешь в пропасть, или плывешь... Короче говоря, прелесть!

* * *

13 лет, 3 месяца

Воскресенье, 10 января 1937 года

Додо разбудил меня посреди ночи. Он плакал. Я спросил его почему, но он не захотел говорить. Тогда я спросил, зачем он меня разбудил. Он наконец признался, что ребята смеются над ним, потому что он не умеет писать так же далеко, как они. Я спросил, куда он достает струей. Он ответил, что недалеко. Тебя что, мама не научила? Нет. Я спросил, может, научить его прямо сейчас. Да. Я спросил, хорошо ли он натягивает «носочек», перед тем как пописать. Он сказал: Чего – носочек? Мы вышли на балкон, и я показал ему, как надо натягивать «носочек». Меня научила Виолетт, во время мытья, когда я был маленький: «Натягивай как следует носочек – вот так! – а то у нас тут грибы разведутся». Он достал свой кончик и пописал далеко-далеко, прямо на крышу припаркованного внизу «гочкисса» Бержераков. То есть дальше тротуара. Он так обрадовался, что писал и смеялся. Струя толчками летела все дальше и дальше. Я испугался, что он разбудит маму, и зажал ему рот ладонью. А он все смеялся – мне в руку.

* * *

13 лет, 3 месяца, 1 день

Понедельник, 11 января 1937 года

Мальчики писают тремя способами: 1) сидя, 2) стоя, не натягивая «носочек», 3) стоя, натягивая. («Носочек» – это препуций, крайняя плоть, так это называется в словаре.) Когда ты натягиваешь его, то писать получается гораздо дальше. И все же *невероятно*, чтобы мама не объяснила этого Додо! С другой стороны, может быть, это делается инстинктивно? Тогда почему Додо сам не догадался? Что было бы со мной, если бы Виолетт не показала мне этого приема? Возможно ли, чтобы мужчины всю жизнь писали себе на ноги, только потому, что им и в голову не пришло натянуть свой «носочек»? Я думал об этом весь день, слушая учителей – Люилье, Пьерраля, Ошара. Они столько знают всего о *мироустройстве* (как сказала бы мама), а при этом им, может быть, и в голову не приходило, как надо натягивать «носочек». Взять, к примеру, господина Люилье: у него такой вид, будто он всех всему хочет научить, а я уверен, что он до сих пор писает себе на ноги и не может понять, почему у него так выходит.

* * *

13 лет, 3 месяца, 8 дней

Понедельник, 18 января 1937 года

Когда я ложусь спать, то люблю заснуть, а потом проснуться, чтобы снова с удовольствием уснуть. Заснуть и в ту же секунду проснуться – это так здорово! *Искусству засыпания* научил меня папа. Понаблюдай за собой как следует: веки тяжелеют, мышцы расслабляются,

голова всем своим весом давит на подушку, ты чувствуешь, как то, что ты думаешь, *думается* уже само по себе, словно ты уже во сне, хотя еще понимаешь, что не спишь. Как будто идешь, балансируя, по стене и знаешь, что вот-вот свалишься в сон? Именно! И как только почувствуешь, что уже почти падаешь, встряхнись и проснись. Задержишься на стене еще на какое-то время. Несколько секунд, за которые ты успеешь подумать: сейчас я снова усну! Это восхитительное предвкушение. Потом проснись еще раз, чтобы еще раз его прочувствовать. Если понадобится, ущипни себя, как только почувствуешь, что проваливаешься! Выныривай столько раз, сколько у тебя получится, а потом уже погружайся в сон *окончательно*. Я слушаю, как папа нашептывает мне свой урок засыпания. Еще, еще! – говорю я сну каждый вечер, и все это – благодаря ему.

* * *

13 лет, 3 месяца, 9 дней

Вторник, 19 января 1937 года

Может быть, это и означает «умереть». Вот было бы хорошо, если бы только мы так не боялись смерти. А может, мы каждое утро просыпаемся только затем, чтобы оттянуть этот чудесный миг, когда наконец умрем. Когда папа умер, он уснул в последний раз.

* * *

13 лет, 3 месяца, 20 дней

Суббота, 30 января 1937 года

Я только что высморкался, и это напомнило мне, как я учил сморкаться Додо, когда он был маленьким. Они никак не мог дунуть. Я совал ему платок под нос и говорил: давай, дуй, а он дул ртом. Или вообще не дул, вернее, дул внутрь себя, надувался, как воздушный шарик, а из носа ничего не выдувал. Я тогда думал, что Додо – дурак. Но это неправда. Просто человеку всему приходится учиться на собственном теле, совершенно всему: ходить, сморкаться, умываться. Мы бы ничего этого не умели, если бы нам не показали, как это делается. Ведь вначале человек ничего не умеет. Совсем ничего. Единственно, чему его не надо учить, это дышать, видеть, слышать, есть, писать, какать, засыпать и просыпаться. И еще! Слышать-то мы слышим, но нам надо еще научиться *слушать*. То же самое: мы видим, но нам надо учиться *смотреть*. Мы едим, но нам надо научиться нарезать мясо, которое мы едим. Мы какаем, но нам надо еще научиться делать это в горшок. Мы писаем, но, когда мы перестаем писать в штаны, нам надо учиться правильно *целиться*. Учиться – это, прежде всего, учиться *владеть своим телом*.

* * *

13 лет, 3 месяца, 26 дней

Пятница, 5 февраля 1937 года

Вы что, меня дураком считаете? Зачем вы вот так выделяете *голосом* ключевые слова ваших *рассуждений*? – спрашивает меня перед всем классом господин Люиллье. Он еще и передразнил меня, чем, конечно же, всех страшно развеселил. Вы думаете, ваш учитель истории без вас не знает, что отмена Нантского эдикта была *тягостной ошибкой*? Кстати, вам не кажется, что «тягостная ошибка» звучит несколько вычурно из уст мальчика вашего возраста? А вы часом не *сноб*, дружок? Я призываю вас впредь быть *проще* и не *давить нас вашими глубокими познаниями*.

Мне было очень грустно, что из-за моих «курсивов» он вот так высмеял папу. (Потому что мои «курсивы» – это его «курсивы», выходит, все они смеялись над ним.) Мне хотелось ответить господину Люиллье и передразнить его самого с его кислым голоском, но вместо этого я залился краской, и мне пришлось задержать дыхание, чтобы не заплакать. Так я ничего ему и не ответил. Когда прозвенел звонок, меня охватила паника. Сейчас я выйду из класса, а там – все они! От одной этой мысли меня сковал паралич. Буквально – паралич! Ноги не слушались. Я так и остался сидеть. Я не чувствовал своего тела. *Меня снова заперли в шкафу!* Я сделал вид, что ищу что-то в портфеле, потом в парте. Позорище! Все внутри восставало против этого стыда, и это в конце концов придало мне сил подняться. Пусть они издеваются надо мной, неважно. Пусть побьют или даже убьют, мне наплевать.

Но ничего такого не произошло. Снаружи меня ждала Виолетт. Она ходила за покупками и решила заодно забрать меня из школы. Ну, что, дружок, ты, кажется, чего-то испугался? У тебя это на лице написано! На лице? Оно белое, как утиное яичко. И вовсе нет! Не нет, а да! По нашим лицам о многом можно узнать, посмотри на Манеса, на него как найдет, так он целый день и злится. И потом, я слышу, как стучит твое сердчишко. Ничего она не слышала, но это же – Виолетт, она угадала. Дома она приготовила мне полдник (хлеб с виноградным вареньем и холодное молоко). Я попросил ее не приходить больше за мной в школу. Ты хочешь сам защищаться, дружок? Пора. Никого не бойся, а если тебе набьют шишек, я тебя вылечу.

* * *

13 лет, 3 месяца, 27 дней

Суббота, 6 февраля 1937 года

Когда я сказал папе, что уже не маленький и чтобы он больше не разговаривал со мной «курсивом», он ответил: Не получится, мой мальчик, это во мне говорит моя *английская половина*.

* * *

13 лет, 4 месяца

Среда, 10 февраля 1937 года

Сначала мама подумала, что я притворяюсь, чтобы не ходить в школу. Но нет, это и правда была настоящая ангина. С высокой температурой, которая держалась первые два дня. Впечатление такое, будто ты в скафандре, полном какого-то бульона (это слова Виолетт). Доктор опасался, что это скарлатина. Десять дней постельного режима. Начинается все так, будто какая-то рука душит тебя *изнутри* и мешает глотать. Даже слюну. Жутко больно! А слюна у нас, оказывается, образуется *беспрерывно*. Сколько литров в день? И все эти литры мы глотаем, потому что плевать неприлично. Выработка слюны и глотание – такая же автоматическая функция нашего тела, как и дыхание. Не будь ее, мы бы высохли, как селедка. Интересно, сколько понадобилось бы тетрадок, чтобы описать только то, что наше тело делает так, что мы этого не замечаем? Можно ли перечислить все его автоматические функции? Мы на них и внимания не обращаем, но стоит одной из них забуксовать, как мы ни о чем другом уже и не думаем! Когда папе казалось, что я слишком ною, он цитировал одно и то же высказывание Сенеки: *Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным*. Именно так и выходит, когда одна из наших функций дает сбой! Мы станем самыми несчастными в мире! Когда я заболел ангиной, первое время я был одно сплошное горло. «Человек *фокусируется* на себе, – говорил папа, – отсюда все несчастья.

Людам кажется, что за рамками их жизни ничего нет. Мой мальчик, послушай мой совет: старайся ломать рамки».

* * *

13 лет, 4 месяца, 6 дней

Вторник, 16 февраля 1937 года

На целую неделю моя комната превратилась в больничную палату. Виолетт кипятила на кухне воду для полосканий, а потом готовила их на папином ломберном столике, который она покрыла белой скатертью и поставила у окна. Сестра из Сен-Мишеля показала ей, как делать согревающие компрессы. Не экономьте на продуктах, дочь моя! (Это при том, что Виолетт ходит к ней в бабушки!)

Виолетт раскладывает на скатерти салфетку, выкладывает на нее кашицу из льняной муки, посыпает это сухой горчицей, сворачивает салфетку так, чтобы свободные края находили один на другой, накладывает мне на горло, и начинается пятнадцатиминутная пытка. Шея чешется, горит огнем, ее словно колют иголками, но, конечно же, горло начинает болеть меньше, поскольку ты думаешь только об этом жжении. *Одна боль вытесняет другую, в этом все дело, малыш!* (Папа.) *Хочешь забыть боль? Сделай себе еще больнее!* (Виолетт.) Но хуже всего оказалась процедура, которую проделала сестра из Сен-Мишеля, — смазывание. Она засунула мне глубоко в горло палочку, и меня тут же вырвало прямо ей на передник. Она страшно оскорбилась и сказала, что больше не придет. Что тут было с мамой! Ты не хочешь лечиться? Тебе нужен белок в моче? Ревматизма захотел? Ты знаешь, что от этого можно умереть? Осложнение на сердце – и всё! С Виолетт смазывания проходят как по маслу: Ну-ка, дружок, открой рот пошире и дыши, дыши, только не закрывай заднюю заслонку. Не закрывай, говорю тебе! (Она имеет в виду гортань.) Вооооот. Если пописаешь зеленым, в обморок не падай: это от синьки, которой я смазываю тебе горло! Точно: синька смешивается с желтой мочой – и ты писаешь зеленым. Она правильно сделала, что предупредила, потому что от такого сюрприза я точно свалился бы в обморок.

* * *

13 лет, 4 месяца, 7 дней

Среда, 17 февраля 1937 года

Компрессы, полоскания, смазывания, покой – это все хорошо, но лучшее лекарство для меня – засыпать, вдыхая запах Виолетт. С Виолетт я у себя дома. От нее пахнет воском, овощами, печкой, хозяйственным мылом, жавелевой водой, старым вином, табаком и яблоками. Когда она прижимает меня к себе и накрывает с головой шалью, я как будто возвращаюсь домой. Я слышу, как слова булькают у нее в груди, и засыпаю. А когда просыпаюсь, Виолетт уже нет рядом, но ее шаль все еще на мне. Это чтобы ты не заблудился в своих снах, дружок. Собака, если потеряется, всегда отыщет хозяина по запаху!

* * *

13 лет, 4 месяца, 8 дней

Четверг, 18 февраля 1937 года

Мое тело – это еще и тело Виолетт. Запах Виолетт – словно моя вторая кожа. Мое тело – это еще и папино тело, тело Додо, Манеса... Наше тело – не только наше.

* * *

13 лет, 4 месяца, 9 дней

Пятница, 19 февраля 1937 года

Ноги как ватные, но температуры уже нет. Доктор успокоился. Он говорит, что, будь это скарлатина, первые признаки уже «объявились бы». Это выражение меня удивило, потому что Виолетт, рассказывая о своем муже, всегда говорит, что он был такой «миленький, когда вдруг объявился с предложением руки и сердца»! (Муж погиб на войне, в самом ее начале, в сентябре четырнадцатого года.) Войны тоже объявляются.

* * *

13 лет, 4 месяца, 10 дней

Суббота, 20 февраля 1937 года

Ты хочешь еще? Чего хочу? Температуры хочешь еще? А с чего мне ее хотеть? Да чтобы в школу не ходить! Додо с радостью снова забирается ко мне в постель и болтает без умолку. Если ты правда хочешь, тогда просто нагрей градусник, только не на печке, а то он лопнет, а еще лучше – постучать по нему, только не по тому концу, который суют под мышку, а по другому, круглому! Тихонечко так постучать ногтем, столбик и поднимется, это можно сделать под одеялом, незаметно, даже если мама будет за тобой следить, только стучи не слишком сильно, а то ртуть разорвется на «пунктир», понятно? (Он умолкает, но вскоре снова начинает болтать.) А с промокашкой фокус знаешь? Если засунуть сухую промокашку в ботинок, между носком и подошвой, то у тебя сразу поднимется температура, как только начнешь ходить. Что это за глупости? Честное слово! Кто тебе это наплел? Один мальчик в классе.

* * *

13 лет, 4 месяца, 15 дней

Четверг, 25 февраля 1937 года

Мама не понимает, как мне может нравиться виноградное варенье Виолетт. Лично она скорее умерла бы с голоду, чем взяла в рот хоть ложку этой «меррррзости»! Она требует, чтобы я держал банку у себя в комнате. Не желаю, чтобы эта гадость находилась на кухне, слышишь?! У меня от одного запаха все внутри переворачивается!

А мне в виноградном варенье нравится всё. И запах, и цвет, и вкус, и консистенция. Обоняние, зрение, вкус, осязание – наслаждение для четырех чувств из пяти, ничего себе!

1) Запах. Как у винограда «Изабелла». Как будто мы с Тижо, Робером и Марианной сидим в виноградной беседке. В тени, но тень – жаркая, пахнет клубникой. Хорошо.

2) Цвет. Почти черный, с фиолетовым отливом. Когда я макаю тартинку с вареньем в молоко, получается такой ореол, который из черно-фиолетового превращается сначала в красновато-лиловый, а потом – в светло-светло-голубой. Красотища!

3) Вкус – клубничный. Но без кислинки, как у настоящей клубники.

4) Консистенция. Что-то между вареньем и желе. Оно тает во рту, но не такое скользкое, как желе. Виолетт делает такое же из ежевики.

5) Ой, я же забыл еще сказать про его температуру. Если оставить банку на ночь на окне, а утром обмакнуть тартинку в горячее молоко, получается восхитительный контраст холодного и горячего.

Но больше всего мне нравится как раз то, что это варенье Виолетт. И я уверен, что в этом и кроется причина, почему оно не нравится маме.

Вопрос: наше отношение к людям влияет на наши вкусовые сосочки?

* * *

13 лет, 4 месяца, 17 дней

Суббота, 27 февраля 1937 года

Только что Додо промывал в ванной глаза из-за «песочного человечка». Это Виолетт сказала ему, что «песочный человечек» заходит вечерами в каждый дом, вот он и помчался промывать глаза, как только они стали у него слипаться. Я объяснил ему, что «песочный человечек» тут ни при чем, что в глазах у него щиплет, потому что он *хочет спать*. Что про «песочного человечка» говорят, когда хочется спать. На что он ответил: «Ну и что? Все равно это «песочный человечек»!» Додо все еще находится *под властью сказок*. А я взялся за этот дневник, чтобы от этой власти освободиться.

* * *

13 лет, 4 месяца, 27 дней

Вторник, 9 марта 1937 года

Дядя Жорж ответил на мое письмо. Он – единственный из взрослых, кроме Виолетт, кто отвечает на вопросы детей. Поэтому Этьен знает гораздо больше меня.

Дорогой малыш,

[...] Ты спрашиваешь, как я потерял волосы: «от испуга или от какого-то потрясения». [...] Мой маленький, я облысел во время Первой мировой войны – и не я один. В одно прекрасное утро я проснулся и обнаружил в каске целые пряди волос, это повторилось и на следующее утро, и через день – тоже. За несколько недель я стал совершенно лысым. Врач сказал, что это называется алопеция, и пообещал, что волосы отрастут. Как же! [...]

Дальше ты спрашиваешь, бывает ли у меня, как у «представителя лысой половины человечества», что по лысине «бегают мурашки». Так вот, да будет тебе известно, что со мной такое случалось, по крайней мере, раз в жизни, когда, сразу после войны, я ходил в театр на Сару Бернар. Ты представить себе не можешь, какой у нее был голос. [...]

Что же касается твоих вопросов относительно «менструаций и всего такого», боюсь, я не смогу на них ответить. Видишь ли, малыш, для Мужчины Женицина – величайшая тайна, но, к сожалению, не наоборот. [...]

Мы с Жюльетт нежно тебя целуем. Передай от нас привет твоей многоуважаемой матушке и приезжай, когда захочешь, в Париж – показать нам свои бицепсы.

Твой дядя Жорж

Про месячные – это он мягко дает понять, что мне еще рано задавать такие вопросы. Ну, я примерно такого и ожидал. А между прочим, Виолетт мне уже объяснила главное. Я спросил ее об этом после того, как Фермантен сказал о своей сестре: мол, у нее начались «эти дела», и к ней теперь «лучше не соваться». Остальное я выписал из словаря.

МЕНСТРУАЦИИ. СЛОВАРЬ ЛАРУССА:

Менструация включает:

1) начальный период, совпадающий в основном с периодом полового созревания;

2) период расцвета, соответствующий репродуктивному возрасту женщины;

3) период прекращения, или менопауза.

Длительность менструального цикла, т.е. временного промежутка между началом двух следующих друг за другом менструаций, варьирует между двадцатью пятью и тридцатью днями.

Менструации почти всегда прекращаются в период беременности и обычно – во время родов.

* * *

13 лет, 5 месяцев

Среда, 10 марта 1937 года

Мне вспомнился разговор между дядей Жоржем и папой. Папа уже не вставал с постели. Он почти ничего не ел. Дядя Жорж уговаривал его собраться с силами. Даже умолял. В глазах у него стояли слезы. Не могу, говорил папа, видишь ли, старик, я облысел изнутри! И ничего там уже отрасти не может, как и у тебя на голове. Дядя Жорж и папа страшно любили друг друга.

* * *

13 лет, 5 месяцев, 6 дней

Вторник, 16 марта 1937 года

Папа же предупреждал меня! Но одно дело знать и совсем другое, когда это с тобой случается! Я проснулся и пулей вылетел из кровати. Пижама была вся мокрая, а руки измазаны чем-то липким. То же самое наблюдалось и на простынях, везде. Сердце колотилось как бешеное. Только сбрасывая с себя пижаму, я вспомнил, что говорил мне папа: Семязвержение, мой мальчик. Если это случится с тобой ночью, не пугайся, это не значит, что ты снова стал писаться в кровать, это начинается твое будущее. Без паники, сразу ни у кого ничего не получается: сперму ты будешь вырабатывать на протяжении всей жизни. Вначале ты едва будешь контролировать процесс: фрикция, наслаждение и – раз! – все наружу! А потом попривыкнешь, научишься сдерживаться и в конце концов будешь наслаждаться этим, да еще как.

Пижама липла к ногам, точно клейкая бумага. Когда я мылся, в ванную ко мне заглянул Додо. Ему и тут надо было сунуть свой нос. Он весь дрожал от возбуждения. Это – ничего, это – сперматозоиды, чтобы детей делать, одна половина сидит в мальчиках, другая – в девочках!

* * *

13 лет, 5 месяцев, 7 дней

Среда, 17 марта 1937 года

Когда сперма высыхает на коже, она растрескивается. Как слюда.

* * *

13 лет, 5 месяцев, 8 дней

Четверг, 18 марта 1937 года

Папино лицо я почти не помню. А вот голос – да. Да, да! Я помню все, что он мне говорил. Его голос был как дуновение. Он шептал мне на ухо. Иногда я не понимаю: я действительно только вспоминаю это, или папа все еще шепчет внутри меня.

* * *

13 лет, 5 месяцев, 18 дней

Воскресенье, 28 марта 1937 года

Экорше снова вставлен в щелку зеркала. Если надо быть похожим на это, на это я и буду похож.

* * *

13 лет, 5 месяцев, 19 дней

Понедельник, 29 марта 1937 года

Дело сделано. Я подошел к Фермантену и попросил его показать мне всякие приемчики, чтобы качать мускулы. Сначала он стал надо мной издеваться. Сказал, что я – полная безнадега и что он не станет опускаться до возни со мной. Даже если я буду делать за тебя задания по математике? Он перестал смеяться. А что это с тобой такое случилось? Хочешь нарастить мяса, чтобы все девчонки попадали? (Думаю, он имел в виду мышцы – дельтовидные, поднимающие и бицепсы.) Хочешь выглядеть как римский панцирь? (Несомненно, речь шла о брюшных мышцах: большой прямой, малой косой, а также больших зубчатых.) Тебе придется покачать пресс плюс поотжиматься! Фермантен старше меня всего на два года, но он – настоящий атлет. В командных играх типа футбола или вышибал его команда всегда выигрывает. Он записан в несколько спортивных секций и хочет, чтобы я ходил туда вместе с ним. Но об этом не может быть и речи. Мне надо сначала выбраться из шкафа. И никаких командных игр, а вот «покачать и поотжиматься» – это пожалуйста. Ведь этим можно заниматься и в одиночку. Опять же скакалка, брусья, бег на выносливость, да, и еще пусть он научит меня кататься на велосипеде (Виолетт даст мне свой) и плавать. Манес показывал мне уже, как это делается, но когда он швыряет меня в омут, я плаваю по-лягушечьи. Фермантен хочет, чтобы за занятия бегом, велосипед и плавание я писал за него сочинения и делал английский. Ладно.

* * *

13 лет, 6 месяцев, 1 день

Воскресенье, 11 апреля 1937 года

Отжимания – это значит, что ты должен держать тело очень прямо, под углом примерно пятнадцать градусов к полу, и, опираясь на носки и вытянутые руки, сгибать локти, пока подбородок не коснется пола, затем снова подняться на вытянутых руках, и так – сколько хватит сил. Тело должно быть вытянуто, напряжено, спина не должна прогибаться, и во время

сгибания локтей нельзя касаться пола коленками, только чуть-чуть грудью. Еще можно упереться ногами в край кровати, чтобы нагрузка на руки была еще больше. Это – главное упражнение на отжимание, но есть еще много других. Фермантен мне все показал. В музыке это называлось бы «вариации на заданную тему». Отжимание с хлопком: разгибая локти, оттолкнуться сильнее, чтобы успеть хлопнуть в ладоши, прежде чем снова коснешься ими пола. (Не пытайся сделать это сразу, а то ударишься головой об пол и выбьешь себе зубы.) Отжимание с хлопком за спиной: то же самое, только толчок должен быть еще сильнее, чтобы успеть хлопнуть в ладоши за спиной. (Даже не думай или попробуй сначала на матрасе.) Еще труднее – отжимание с поворотом: прежде чем снова опереться на руки, надо обернуться вокруг себя. Отжимание на одной руке, потом на другой, отжимание на трех пальцах (замечательно для альпинистов с отмороженными пальцами) и т.д.

ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН

Милая моя Лизон,

Следующие четыре тетради (апрель 37-го года – лето 38-го) – как раз из тех, что ты можешь смело пропустить. Там ты найдешь только таблицы, иллюстрирующие, как развивалась моя мускулатура (бицепсы, предплечья, торс, бедра, лодыжки, брюшной пресс...). В раннем отрочестве я только и делал, что измерял себя; не выпуская из рук сантиметра, я был сам себе и этнограф, и добрый туземец. Сегодня смешно об этом вспоминать, но думаю, я действительно вбил себе в голову, что должен стать похожим на экорше из «Ларусса»! В Бриаке, куда после моего исключения из скаутов Виолетт отвозила меня каждое лето на каникулы, я заменял спортивные упражнения работой в поле или в лесу. Манес с Мартой страшно удивлялись, что городскому мальчику так по сердцу пришлось жить на ферме. Они и не подозревали, что я выбираю себе работы исходя из сугубо мускулатурных критериев: рубка дров – для бицепсов и предплечий, погрузка сена – для бедер, брюшного пресса и спинных мышц, беготня за козами и плавание до одури – для развития грудной клетки. Сегодня мне даже немного совестно, что я водил их за нос относительно моих истинных целей, но Виолетт-то мне было не проведсти, а для меня не было большей радости, чем делиться с ней своими секретами.

Послушай-ка, Лизон, я ведь никогда не рассказывал вам о своем детстве и теперь часто думаю, что ты, наверно, мало что понимаешь из рассказов о горестном начале моей жизни: смерть отца, злобная мать, тело, позабытое в зеркальном шкафу, и этот тринадцатилетний паренек, который строчит в своем дневнике с серьезностью академика. Думаю, пора сказать тебе пару слов обо всем этом.

Видишь ли, я – порождение агонии. Мой отец был одним из тех живых трупов, которые вернулись в гражданскую жизнь после Первой мировой войны. Мозг его был пропитан ужасами, легкие разрушены немецкими газами, он тщетно пытался выжить. Последние годы (1919—1933) были для него сплошным сражением – самым героическим за всю его жизнь.

Из этого стремления выжить я и родился. Зачав меня, мать хотела спасти мужа. Ребенок будет ему во благо, ведь ребенок – это жизнь! Думаю, вначале для реализации этого проекта у него не было ни сил, ни

желания, но матушке удалось его взбодрить настолько, чтобы 10 октября 1923 года появился на свет я. Однако все ее усилия оказались напрасны – на следующий день после моего рождения отец снова впал в агонию. Мать так и не простила нам этого провала – ни ему, ни мне. Я ничего не знаю об их отношениях до моего рождения, но бесконечные материнские упреки до сих пор стоят у меня в ушах. Он «слишком прислушивался к самому себе», «не хотел встряхнуться», «ему на все было наплевать», он «сидел на гноище, как Иов», бросив ее «одну среди этой жизни», где ей приходилось «самой обо всем думать и все делать». Эта брань в адрес умирающего стала привычным музыкальным фоном моего детства. Отец не отвечал на нее. Несомненно, из сострадания: ведь его упрекала женщина несчастная, но главное – от усталости, от изнеможения, которое она принимала за скрытую форму равнодушия. Этой женщине не удалось получить от этого мужчины того, чего она хотела, – некоторым людям беспокойного нрава большего и не требуется, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить в затаенной злобе, презрении и одиночестве. Тем не менее она не ушла. Не оставила его. В то время люди не разводились, а если и разводились, то редко, или реже, чем сейчас, или не у нас, или она просто не захотела развода, не знаю.

Поскольку мое рождение не помогло ей воскресить мужа, мать сразу же стала относиться ко мне как к чему-то бесполезному, ни на что не годному – в полном смысле слова, и оставила меня на его попечение.

А я обожал этого человека. Конечно же, я не знал, что он умирает, я принимал его вялость за мягкость и любил его за это, ах, как же я любил его, я во всем подражал ему, вплоть до того, что и сам превратился в идеального маленького умирающего. Как и он, я мало двигался, почти ничего не ел, подстраивался под его замедленные движения, я рос, не развиваясь физически, короче говоря, прилагал все усилия, чтобы не «входить в тело». Как и он, я помногу молчал или изъяснялся посредством мягкой иронии, бросая вокруг долгие взгляды, преисполненные бессильной любви. Одно из моих яичек упорно не желало показываться на свет, словно я решил жить лишь наполовину. К восьми или девяти годам хирургическое вмешательство водрузило его на место, несмотря на сопротивление, однако я еще долго считал себя неполноценным по этой части.

Мать звала нас с отцом призраками. «Ох и надоели мне эти два призрака, сил никаких нет!» – слышали мы из-за захлопывавшейся за ней с треском двери. (Она то и дело бросала нас, никуда при этом не деваясь, отсюда и эти воспоминания о постоянно хлопающих дверях.) Так что первые десять лет своей жизни я прожил исключительно в обществе моего постепенно ускользающего отца. Он смотрел на меня, словно сокрушаясь, что вынужден покинуть этот мир, оставляя в нем ребенка, исторгнутого у него внутривидовым оптимизмом. Однако оставить меня, предварительно не вооружив, – об этом не могло быть и речи. Невзирая на слабость, он занялся моим образованием. И неплохо занялся, можешь мне поверить! Последние годы его жизни были отчаянной гонкой двух разумов – его, угасающего, и моего, расцветающего. Он хотел, чтобы к моменту его смерти сын умел читать, писать, считать, отказывать, думать, запоминать, рассуждать, промолчать когда нужно, не переставая при этом мыслить. Таковы были его планы. Игры? На них не было времени. И

потом, какие игры при таком теле? Я был вялым, стеснительным ребенком, знаешь, из тех, что торчат у песочницы, цепenea от активности себе подобных. «А этот, – говорила матушка, указывая на меня пальцем, – и вообще – тень призрака!»

Но какая у меня была голова, дочь моя! И так рано! Еще не умея читать, я знал наизусть множество басен. Мы с отцом вместе разбирали их мораль в долгих беседах, которые он называл упражнениями в «малой философии». К басням вскоре добавились максимы моралистов, эти акварели мысли, из которых ребенок очень рано может извлечь пользу, надо только, чтобы у него был проводник, который помог бы ему разобраться в том, что сокрыто между строк, что папа и делал, шепча пояснения, ибо голос его был слаб (последние два года жизни он разговаривал только шепотом), но, думаю, еще и потому, что ему нравилось преподносить мне вневременные истины в виде дружеских откровений. Таким образом, очень скоро я обогатился универсальными знаниями, которыми дорожил как даром беспримерной дружбы. В детстве вы с Брюно посмеивались надо мной, когда, завязывая шнурки или моя посуду, я рассказывал наизусть, как другие напевают, то кусочек из Монтеня, то пару строк из Гоббса, то басню Лафонтена, мысль Паскаля, максиму Сенеки («Папа сам с собой разговаривает!»), помнишь? Так вот из глубин моего детства поднимались на поверхность пузырьки малой философии.

Когда в шесть лет мне пришло время идти в школу, отец настоял, чтобы я остался с ним. Инспектор академии – его звали мсье Жарден, – которого мать позвала, чтобы он воспротивился этим планам, был поражен уровнем, обширностью и разнообразием наших тихих разговоров. И дал нам карт-бланш. Едва отец ушел, как я тут же, по-быстрому сдав экзамены, был препоручен народному образованию. Можешь себе представить, каким я был учеником. Еще больше, чем качество моих знаний и то, что я пишу и говорю как по книге (пришепывая, будто советник монарха, и выделяя невыносимыми «курсивами» особо важные места своих высказываний), учителей приводил в восторг безупречный – как у нотариуса – почерк, которым я был обязан отцовской требовательности. Пиши четко, говорил мне отец, не давай людям повода думать, что за неразборчивым почерком ты пытаешься скрыть свое умственное бессилие. Что же касается школьных перемен, ты догадываешься, что со мной могли бы сделать там одноклассники, если бы преподавательский корпус не взял несчастного заморыша под свою защиту.

Со смертью отца я осиротел вдвойне. Я утратил не только его самого – из моей жизни исчез малейший след его существования. Мать поступила так же, как иногда поступают вдовы, – обезумев от горя или опьяненные обретенной наконец свободой, не важно: на следующий же день после его смерти она поспешила стереть все, что могло напомнить ей о существовании этого человека. Его одежда была отправлена в церковь, личные вещи – на помойку или на распродажу. Тут-то я и превратился в его призрак! Лишившись малейшего осязаемого напоминания о нем, я бродил по дому бестелесной тенью. С каждым днем я ел все меньше, совсем перестал разговаривать, у меня развивался панический страх перед зеркалами. Я ощущал себя таким бесплотным, что отражения казались мне подозрительными. (Ты, плутовка, не раз отмечала мое недоверие к

зеркалам и фотографиям, оставшееся у меня, думаю, в память о тех детских страхах.) Ночью – еще хуже: при одной мысли, что мне надо пройти мимо зеркала, кровь стыла у меня в жилах. Я не мог отделаться от мысли, что даже при погашенном свете, когда сам я ничего не вижу, оно все равно заключает в себе мое отражение. Короче говоря, моя милая, в десятилетнем возрасте твой отец не мог похвастаться ни весом, ни статью. Вот тогда-то матушка и решила «воплотить» меня раз и навсегда, записав в скауты. Активные занятия на свежем воздухе, «чувство локтя» (она говорила это без всякой иронии) должны были пойти мне на пользу. Как бы не так. Полный провал, как тебе уже известно. Когда ты начинаешь жизнь с одним яичком, лагерь скаутов – не место для карьерного роста.

Вот кто действительно помог мне «обрести тело», сделать из меня крутого парня, беззащитно пользующегося своими физическими возможностями, так это Виолетт, занимавшаяся у нас уборкой, стиркой и приготовлением пищи, Виолетт – сестра Манеса, тетка Тижо, Робера и Марианны. Матушка с неслыханной скоростью умела доводить прислугу до того, что она сбегала от нас, едва начав работать, обвиненная во всех смертных грехах. Пока не появилась Виолетт. Она взяла штурвал в свои руки и, несмотря ни на что, не выпускала его, потому что тайно усыновила призрачное дитя, бродившее по этому дому. У нее под крылом я и рос. Когда организация скаутов Франции, призванная освободить маму от моего присутствия, не оправдала возложенных на нее надежд, единственным, кто смог облегчить мамино существование и удалить меня из дому, оказалась Виолетт, которая увозила меня на время школьных каникул – на долгие летние месяцы – на ферму к своему брату Манесу и невестке Марте. Виолетт – единственная любовь моего детства – была лишь «простейшим решением проблемы». Ты увидишь, в этом дневнике часто говорится о Виолетт, даже тогда, когда ее давно уже не было в живых.

Ладно. Конец биографической справки. Можешь возвращаться к серьезным вещам. На ферму к Манесу и Марте. В лето 1938 года. Где, как ты увидишь, я был уже в гораздо лучшей форме.

* * *

14 лет, 9 месяцев, 8 дней

Понедельник 18 июля 1938 года

Чтобы справиться с головокружениями, я попросил Манеса устроить мне постель на чердаке, в сарае, где хранятся фрукты, на высоте четырех метров. Марта согласилась. Забираться туда – еще куда ни шло: лесенка вертикальная, ты лезешь и смотришь вверх. А вот спускаться – совсем другое дело! Сначала я цеплялся за лестницу как сумасшедший. Иногда на целых пять минут застревал где-то посередине! Робер, поджидавший меня внизу, кричал, чтобы я не смотрел вниз и дышал глубже. Смотри на перекладины, прямо перед собой! Или просто отцепись – так будет быстрее!

* * *

14 лет, 9 месяцев, 19 дней

Пятница, 29 июля 1938 года

Вот прыгать в зерно в амбаре у Пелюшб – это другое дело! До прошлой недели я никак не мог решиться – все потому, что у меня кружилась голова. Марианна подтрунивала надо мной: Тижо и тот прыгает, а ему всего пять лет! Робер: Тебе что, не нравится пляж? Робер называет это «ходить на пляж», потому что «зерно – желтое как песок, хотя это и совсем другое дело». Прежде чем забраться по лесенке, надо раздеться, чтобы не принести зернышки домой в одежде. Прыгать в зерно запрещено, и зернышки в одежде были бы страшной уликой. Если Манес или Пелюша найдут у нас хоть одно зернышко, они надерут нам задницу (говорит Робер). От конька крыши до земли – семь метров, от главной балки – пять, гора зерна поднимается на два метра. Надо взобраться по лесенке, пробежать по балке и прыгнуть. Три метра летишь в пустоте! Главное – не орать! Если нас услышат, если застукают, как мы прыгаем нагишом в их зерно, тут уж нам точно надерут задницы, да еще и уши поотрывают! (Опять Робер.) До прошлой недели я никак не мог не только пробежать по балке, но даже просто устоять на ней. Там, где Тижо бегаёт вприпрыжку, перед тем как прыгнуть, я мог передвигаться только на четвереньках и прыгал зажмурившись. В самый первый раз меня вообще столкнула Марианна. От ужаса я заорал, и нам пришлось не меньше пяти минут просидеть, зарывшись в зерно и не двигаясь. Робер все это время удерживал Тижо и затыкал ему рот, потому что тому хотелось снова прыгнуть, и немедленно. Но моего крика никто не услышал. Следующие три раза я должен был прыгнуть один – такая плата. Не орать! И на балке стой прямо, во весь рост! И не жмурься, прыгай с открытыми глазами. Прыжок, три метра полета, кишки, поднимающиеся к самому горлу, шуршащая дыра, которую пробивает в зерне твоё тело, ласковое, живое тепло свежеемолоченного зерна на голой коже... Чудо! Теперь я проделываю это запросто. Часто – один, вместе с Тижо. Но все же каждый раз у меня кружится голова: с головокружением можно *совладать*, но *избавиться* от него совсем невозможно.

* * *

14 лет, 9 месяцев, 21 день

Воскресенье, 31 июля 1938 года

Голова кружится, но мне плевать. Значит, мы все же можем запретить ощущениям сковывать наше тело. Ощущения можно приручить – как диких зверей. А от воспоминания о страхе становится еще приятнее! То же самое и с водобоязнью. Я ныряю теперь так, будто укротил дикую кошку. Прыгать в зерно, ловить форель голыми руками, кормить Мастуфа, не боясь, что он тебя укусит, ходить за младшим на луг – все это побежденные страхи. *Твои Аркольские мосты*¹, сказал бы папа.

* * *

14 лет, 9 месяцев, 25 дней

Четверг, 4 августа 1938 года

Страх ни от чего не может тебя уберечь, наоборот, он подвергает тебя всем опасностям! Что не отменяет осмотрительности. Папа говорил: осмотрительность – это умная храбрость.

¹ Во время битвы при Арколе (15—17 ноября 1796 года), где французская армия под командованием генерала Наполеона Бонапарта сражалась с австрийской, Наполеон выказал личный героизм, возглавив одну из атак на Аркольский мост со знаменем в руках. – Здесь и далее прим. перев.

* * *

14 лет, 10 месяцев

Среда, 10 августа 1938 года

Две форели, третья ускользнула. В прошлом году я не мог даже взять в руки живую рыбину. Мне было противно. Я сразу же выпускал ее, как от удара током. И все же, пока мне удастся выловить одну или две, Робер успевает поймать шесть или семь. Ну а когда за дело возьмется Тижо, в реке вообще ничего не останется!

* * *

14 лет, 10 месяцев, 10 дней

Суббота, 20 августа 1938 года

Два восприятия боли.

Сегодня во время утренней дойки корова опрокинула ведро. Робер опустился на колени, чтобы слить молоко в сточный желоб, а когда встал с ведром в руке, к колену у него оказалась прибита доска. Он встал коленом на гвоздь! Он как ни в чем не бывало отодрал доску и снова принялся за работу. Когда я сказал ему, что рану нужно сейчас же продезинфицировать, он ответил: да ладно, потом, после дойки. Я спросил, больно ли ему: чуть-чуть. В четыре часа дня, отрезая хлеб для полдника, я полоснул ножом по большому пальцу. Потекла кровь, к горлу у меня сразу подкатил ком, голова закружилась, я сполз по стенке и, чтобы не потерять сознание, сел на пол. Вот и вся разница между Робером и мной. Если бы маму спросили, откуда эта разница происходит, она ответила бы: «У этих людей полностью отсутствует воображение, вот и всё!» Она часто говорила так о Виолетт. (Например, когда у Виолетт умерла дочь и она совсем не плакала.) Значит, если бы я упал в обморок, это означало бы, что я более развит, чем Робер? Как бы не так! Мы с Робером ровесники, но он живет в дружбе со своим телом, вот и всё. Его тело и его сознание росли и развивались вместе, они – товарищи. Им не нужно при каждой неожиданности заново знакомиться, заново применяться друг к другу. Если у Робера идет кровь, для него в этом нет ничего особенного, ничего неожиданного. А если кровь пойдет у меня, я от неожиданности грохнусь в обморок. Робер отлично знает, что у него есть тело, а внутри этого тела течет кровь. И она может потечь наружу. Как у свиньи, из которой эту кровь специально выпускают. Я же каждый раз, когда со мной происходит что-то новое, сначала удивляюсь, что у меня есть тело!

* * *

14 лет, 10 месяцев, 13 дней

Вторник, 23 августа 1938 года

Заменил лесенку на чердаке веревкой. Главным образом, чтобы туда не лазил Тижо. Пока без помощи ног могу дотянуться только до середины.

* * *

14 лет, 10 месяцев, 14 дней

Среда, 24 августа 1938 года

Тижо – полная противоположность тому, чем я был в детстве. Абсолютно материальный. В нем нет ничего от маленького толстенького будды, на которого похожи обычно дети

его возраста. Он – как паучок, сплошные нервы, мускулы и жилы. Малоподвижный и в то же время стремительный. Ни одного медленного движения. Он действует с такой скоростью, что предотвратить очередную катастрофу, произведенную им от избытка энергии, нет никакой возможности. Я не удивлюсь, если недели через три он сам заберется по веревке ко мне на чердак. На прошлой неделе ему взбрело в голову залезть в барсучью нору вслед за барсуком. Манесу пришлось разрыть ее лопатой, чтобы достать его оттуда, как охотничью собаку. Барсук был страшно недоволен, но даже не оцарапал его! И не покусал. Если бы Тижо был собакой, барсук выпустил бы ему кишки! (Интересно, дикие звери, что ли, чувствуют, когда перед ними ребенок?) Тижо был весь грязный, но страшно довольный. И каждый день – новый подвиг в этом роде. Зато по вечерам он, как пай-мальчик, требует от меня сказку. Он слушает, застыв в кровати с широко раскрытыми глазами под черными кудрями (вчера это был «Мальчик-с-пальчик»), и на лице его написано все, что он чувствует: волнение, нетерпение, возмущение, сочувствие, потом – взрыв смеха, и в один миг он засыпает.

* * *

14 лет, 10 месяцев, 18 дней

Воскресенье, 28 августа 1938 года

Я плохо рассчитал прыжок. Прыгнул слишком прямо и слишком поздно развернулся. В результате ободрал ладони и колени. Под водой я почти ничего не почувствовал, зато потом было здорово больно! («Жгучая боль» – то самое выражение.) Когда Виолетт сказала, что промоет мне ссадины кальвадосом Манеса, я не удержался и спросил: Больно будет? А ты как думал? Конечно, больно, у Манеса водка что надо, не какая-нибудь там бурда! Давай сюда ногу. Я вытянул ногу, вцепившись руками в стул. Готов? (Тижо следил за операцией с огромным интересом.) Я стиснул зубы, зажмурился и кивнул: да. Виолетт протирала рану, но я абсолютно ничего не чувствовал! *Потому что она орала вместо меня.* По-настоящему, как будто от боли, да так, словно с нее с живой сдирали шкуру! Я сначала обалдел, а потом мы с Тижо стали хохотать. Потом коленке стало прохладно от испаряющегося спирта, вместе с которым улетучивалась и часть боли. Я сказал Виолетт, что со вторым коленом это не сработает, потому что теперь этот трюк мне уже известен. Спорим? Давай сюда вторую ногу. На этот раз она закричала по-другому. Как-то по-птичьи, да так пронзительно, что у меня зазвенело в ушах. Но результат был тот же. Я опять ничего не почувствовал. А это, дружок, называется *слуховое обезболивание*. Протирая мне руки, она кричать не стала, и ее молчание поразило меня еще больше, чем вопли. Я и почувствовать-то ничего не успел, как все закончилось.

Получается, если отвлечь сознание от боли, раненый ничего не почувствует. Виолетт сказала, что придумала этот трюк, когда лечила Манеса в детстве. А что, Манес был такой неженка? Она улыбнулась: Даже Манес был когда-то маленьким мальчиком.

* * *

14 лет, 10 месяцев, 20 дней

Вторник, 30 августа 1938 года

Пошел ложиться спать и нашел у себя в постели Тижо. Он все же залез по этой веревке! Мне не хватило духу выгнать его. Да и как это сделать? Пришлось бы связать его по рукам и ногам и спустить вниз на веревке! Он дрыхнет как щенок. Бежит куда-то во сне и поскуливает. И как младенец тоже. Его и пушкой не разбудишь. У меня вот сон всегда был чуткий. Даже если я страшно устал, мое сознание всегда начеку, точно часовой. А когда просыпаюсь,

сердце у меня из груди как будто вырывают щипцами! Ты – точно как твоя мать, говорит Франсуаз, напридумываешь ужасов. Это правда. Но здесь гораздо меньше, чем дома.

* * *

*14 лет, 10 месяцев, 23 дня
Пятница, 2 сентября 1938 года*

Виолетт застала меня голым в тазу. Я отмывался после сбора ежевики. Руки у меня были по локоть красные – как у убийцы. Она оглядела меня: я смотрю, у тебя травка проросла вокруг фонтанчика! – (Никто никогда не говорит о волосах, которые растут у нас на теле. Только Виолетт.) Под мышками тоже есть? Я поднял руки, чтобы она сама убедилась. Она теперь плохо знает мое тело. Я уже почти три года моюсь сам. Вы вырастаете, и ваши сокровенные места становятся неизвестны самым близким людям, тем, кто знает вас лучше всех. Все становится тайным. А потом вы умираете, и все снова становится явным. Когда умер папа, его обмывала Виолетт.

* * *

*14 лет, 10 месяцев, 25 дней
Воскресенье, 4 сентября 1938 года*

Манес посоветовал мне заняться боксом. Ты гибкий, быстро бегаешь, у тебя хорошие мускулы, когда подрастешь, у тебя будут длинные руки, надо заниматься боксом. Сам он был чемпионом, когда служил в армии. Самое интересное в боксе – уклон. Манес нарисовал на земляном полу амбара следы ног – одни против других. Мы встали каждый на свой след, и я должен был достать до него кулаками. Ну, давай, ударь меня, попробуй меня достать. Это такая игра. Я стою на своих следах, он – на своих, на расстоянии вытянутой руки, и я должен попытаться ударить его. А мне не достать. Ну никак. Сначала я действовал потихоньку, но он все время повторял: быстрее! сильнее! быстрее! бей что есть силы! Попробуй достать меня! Еще! Еще! Ничего не получается. Он уворачивается от любых ударов. То отклоняется назад, и я, даже вытянув руку во всю длину (до боли в локте), все равно не могу достать его кулаком, то пригибается, и мой кулак проходит над ним (отчего я теряю равновесие); то поворачивается вполоборота, и я молочу рядом с ним (при этом мне приходится сойти с нарисованных следов). Иногда, чтобы уклониться, ему достаточно повернуть лицо в ту или другую сторону. И я опять промахиваюсь. Совсем чуть-чуть – но промахиваюсь. И все это он проделывает, сцепив руки за спиной и не сходя с нарисованных на земле следов. А я молочу кулаками по воздуху. Иногда я делаю вид, что сейчас ударю в одну сторону, а сам бью в другую, тогда он уклоняется со смехом: «Хитрюга! Ну, давай, давай!» Боксировать с призраком страшно утомительно. Ты еле дышишь, у тебя все болит – плечи, локти, связки на ногах, ты нервничаешь и выбиваешься из сил. И вот тут-то противник переходит в контратаку. Двумя-тремя мягкими, кошачьими ударами Манес касается моей печени, подбородка и носа. Он невообразимо гибок, а какая скорость! А Виолетт говорит, что с 1923 года – год его службы в армии и моего рождения – он вдвое прибавил в объеме.

* * *

*14 лет, 10 месяцев, 27 дней
Вторник, 6 сентября 1938 года*

* * *

Среда, 7 сентября 1938 года

[illegible]

Милая моя Лизон!

Следующую тетрадь ты опять можешь пропустить. Там ты найдешь только эту фразу, которая повторяется бесчисленное количество раз. Виолетт действительно умерла. А для мальчика, каким я был тогда, она не должна была умирать. Понимаешь, она была под моей защитой. Та сила, которую я черпал у нее, из ее старых сил, сделала меня ее естественным защитником и покровителем. Пока я был рядом, с ней ничего не могло

случиться. А она все равно умерла. Умерла, хотя я был рядом. Я один. Единственный свидетель ее смерти. Это случилось однажды днем, когда я, поднимаясь против течения реки, поймал пять форелей, а она ждала меня, сидя на красном складном полотняном стульчике (это она научила меня ловить форель голыми руками: прижимай ее как следует к камням, а змей не бойся – маленькие твари больших не едят). Я бросил к ней в корзину пять рыбин, живых (она сама убивала их быстрым ударом о камень), а она умерла. На шестой рыбине. Она лежала, задыхаясь, рядом со стульчиком, ловя ртом воздух, совсем как форель, которую я выронил, бросившись к ней, стал звать ее по имени, стучать по спине, думая, что она чем-то подавилась, я расстегнул на ней платье, намочил свою рубаху в реке, чтобы сделать ей холодный компресс, и все это время она пыталась восстановить дыхание, хватала ртом воздух, а он душил ее – тот самый воздух, который должен был ее спасти, душил ее, в глазах у нее застыло удивление от этого предательства со стороны жизни, а руки цеплялись за меня, как цепляется за последнюю соломинку утопающий; она ничего не могла сказать, даже что умирает, только эти ледяные пальцы, этот сдавленный крик, эта зияющая дыра – дыхательное горло, эта хрипая, синеющая смерть, ибо она умирала, и мы оба это понимали. Виолетт, не умирай! Вот что я кричал. Не «На помощь!», не «Сюда!» – а «Виолетт, не умирай!», я повторял это снова и снова до того мига, пока не перестал видеть себя в ее глазах, когда эти глаза, такие близкие, перестали смотреть на что бы то ни было, когда она вдруг отяжелела у меня на руках тяжестью мертвого тела. После этого мы не двинулись с места. Задушивший ее воздух вышел из нее, и день для меня померк. Когда Робер с Марианной нашли нас, та форель была еще жива.

Мама забрала меня домой, там я закрылся у себя в комнате и принялся исписывать тетрадь единственной фразой: «Виолетт умерла». Ту самую тетрадь, которая лежит сейчас перед тобой, восьмую тетрадь моего дневника, исписав которую, я собирался приняться за следующую, а потом – еще, такой у меня был план: заполнить все последующие тетради одной-единственной фразой, «Виолетт умерла», тетрадь за тетрадью, писать без передышки до полного изнеможения. Судя по старательно выписанным буквам, решение было принято в спокойном состоянии. «Виолетт умерла» – это уже мой сегодняшний почерк, совершенно отработанный, – округлые, изящные завитки, непременно стенания в духе Третьей Республики, прилежно исписанные страницы, призванные смягчить нестерпимую боль. И так я стenal («Виолетт умерла!»), пока от изнеможения ручка не выпала у меня из руки. Я ослаб не от долгой писанины, а от пустого желудка. Потому что объявил голодовку. Мама не пошла на похороны Виолетт, мама говорила о Виолетт так же, как она говорила, когда Виолетт была жива, мама, думал я, оскверняла память о Виолетт (Никого я не оскверняю, а говорю что думаю!), и я объявил голодовку, чтобы не жить больше рядом с мамой. Я не знал тогда, что мама вообще не думала, что она принадлежала к бесчисленной когорте людей, которые совершенно искренно называют «мнением», «убеждением», «уверенностью», и даже «чувством», и даже «мыслью» некие туманные, неподвластные им ощущения, которыми они только и руководствуются в своих суждениях. Виолетт была фальшивой, Виолетт была вульгарной, Виолетт занимала не свое место, Виолетт наверняка воровала, Виолетт была неряха, алкоголичка, распустеха, от

Виолетт дурно пахло, Виолетт должна была именно так кончить, – а я не хотел больше жить вместе с мамой. Пансион или смерть – таков был мой лозунг. А средством давления стала голодовка.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 3 дня

Вторник 13 сентября 1938 года

Ты? Голодовку? Посмотрим, что завтра будет! Она ошибается. Я держусь. Впрочем, это не так страшно. Я не жульничаю, тайком не ем. Когда голод становится нестерпимым, я выпиваю стакан воды, как это позволено делать перед причастием. За столом она каждый раз ставит передо мной одну и ту же тарелку, как она поступает с Додо, когда тому не нравится то, что ему дают. Он думает, что мы будем выбрасывать еду! Она и правда ничего не понимает. Как интересно: человек, который считает, что все знает, так плохо понимает других. Но мне не хочется задумываться о ней. Я никогда больше не скажу «мама».

* * *

14 лет, 11 месяцев, 4 дня

Среда, 14 сентября 1938 года

Сходил в туалет в последний раз. Теперь я на самом деле совершенно пустой. В желудке (или в кишечнике?) урчит, потому что мой пищеварительный аппарат работает впустую. Когда по-настоящему голодаешь, спишь, свернувшись калачиком. Как будто сворачиваешься вокруг желудка. Как будто пытаешься сдавить его, чтобы позабыть о том, что там – пусто. Днем только и думаешь, что о еде. Слюна становится сладкой. Думаю, в таком состоянии можно съесть что угодно. Додо хочет, чтобы я забрал его с собой в пансион. Он говорит, что не останется здесь один.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 5 дней

Четверг, 15 сентября 1938 года

Вчера вечером я стал жевать простыню. Это – не жульничество, просто мне надо было положить что-то в рот. Думаю, я жевал ее, даже засыпая. Додо воспользовался этим и стал меня шантажировать. Он взял с меня клятву, что я возьму его с собой. Он сказал: если ты не заберешь меня, я принесу сюда все самое вкусное и стану есть у тебя на глазах. Мы посмеялись.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 6 дней

Пятница, 16 сентября 1938 года

Сегодня утром она захотела меня обнять. Я вскочил с кровати. Не хочу, чтобы она прикасалась ко мне. Голова у меня закружилась, и я упал. Она хотела было меня поднять, но я закатился под кровать, чтобы она меня не достала. Она сказала, что отправит меня не в пансион, а в сумасшедший дом. И добавила: впрочем, все это одна комедия, ты ешь тайком, я видела! Она все время так говорит, чтобы саму себя успокоить. Мне Додо сказал.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 7 дней

Суббота, 17 сентября 1938 года

Пища – это энергия. У меня нет больше энергии. Мне не хватает ее для тела. С силой воли все в порядке, ничего не изменилось. Я не стану есть и разговаривать, пока она не согласится на пансион. Все равно какой, мне плевать.

Нельзя лежать, нельзя спать. Надо куда-нибудь ходить, шагать. Чем меньше ты ешь, тем кажешься тяжелее и тем длиннее кажутся расстояния. На улице я передвигаюсь от фонаря к фонарю. Дойду до одного, постою, переведу дух, взгляну на следующий и снова иду. За прогулку мне надо пройти так, по крайней мере, десять фонарей. Десять туда и десять обратно. Так, наверно, я буду ходить, когда состарюсь. Считаю фонари.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 8 дней

Воскресенье, 18 сентября 1938 года

Она наняла новую кухарку – Роланду. Поскольку сама она теперь не заходит ко мне в комнату, обед мне приносит Роланда. Она заказывает ей мои любимые блюда. Сегодня днем это были макароны с помидорами и базиликом (соус из банок Виолетт!). Вечером – картофельная запеканка и простокваша с виноградным вареньем. Я ни к чему не притронулся. Только нагнулся над тарелкой и стал глубоко дышать, накрыв голову полотенцем – как при ингаляции. Аромат помидоров с базиликом наполняет тебя до краев, растекаясь по пустотам, образовавшимся внутри тебя от голода. Как и аромат мускатного ореха. Ты не поел, но наполнился. Роланда уносит нетронутые тарелки. Она, наверно, думает, что попала в дом к сумасшедшим. Додо говорит, что я действительно силен.

Я сам в августе помогал Виолетт готовить эти помидоры с базиликом. Не надо хранить банки слишком долго, дружок, полтора-два месяца, не больше, иначе масло помутнеет от базилика и станет невкусным. (В ее голосе уже тогда недоставало воздуха.) Я заплакал.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 9 дней

Понедельник, 19 сентября 1938 года

Мне трудно отжиматься. В руках мало силы. Больше десяти раз отжаться не получается. До голодовки я их даже не считал. Пусть я похудею, это мне все равно, но я не хочу терять свои мускулы. Жира-то у меня не так много – терять нечего. Несмотря на нижнее белье, вельветовую рубашку, толстый свитер и папино одеяло, мне все время холодно. Это от голода. Жира становится все меньше, и ты мерзнешь. Виолетт не понравилось бы, что я столько плачу. Перестань, дружок, ты выльешь из себя всю воду и вконец исхудaeшь! Давно-давно, чтобы утешить меня после папиной смерти, она взяла меня с собой на ярмарку, и я, стреляя из лука, выиграл двенадцать кило сахара. Хозяин тира был вне себя от ярости. Да этот паренек первоклассный стрелок, он разорит нас, хватит уже! Мне было всего десять с половиной лет! Мы взяли машину и один пакет сахара отдали шоферу.

Виолетт, Виолетт, Виолетт... Я все твердил не переставая: Виолетт, Виолетт, Виолетт, Виолетт, Виолетт, обливаясь слезами, Виолетт, Виолетт, Виолетт, Виолетт, – пока ее имя не потеряло всякий смысл.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 10 дней

Вторник, 20 сентября 1938 года

Сегодня утром я выбросил завтрак в окно. Слишком велико было искушение. Роланда больше ничего мне не принесла – ни в обед, ни вечером. Разглядывая в зеркало свои ребра, я подумал о папе. Он тоже, наверно, считал фонари. В самом конце он вообще уже не выходил из дома. Мне теперь не вспомнить его лицо, но я все еще чувствую его ладонь у себя на голове. Она была такая большая по сравнению с худой рукой. И такая тяжелая. Ему приходилось делать невероятное усилие, чтобы ее поднять. Чаще всего он клал ее мне на руку, и я сам доносил ее до своей головы. Мне приходилось ее удерживать, чтобы она не упала. Или же я клал голову ему на колени, так ему было легче. Ему никогда не хотелось есть. Он подолгу оставался за столом, даже после еды, когда посуда была уже убрана. Думаю, у него не было сил подняться. Как и желания говорить. Однажды на нос ему села муха. Он даже не попытался ее согнать. Все за столом сидели и смотрели на эту муху. А он сказал: Она, наверно, решила, что я уже труп.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 11 дней

Среда, 21 сентября 1938 года

Когда ничего не ешь, разговаривать не хочется. Да если бы и хотелось, мне уже трудно было бы говорить. А молчать ничего не стоит. Я так даже отдыхаю. Додо я делаю знаки кончиками пальцев, ему достаточно – он понимает. Долгое молчание – это как будто очищение, полное. И потом, у меня больше нет слюны. Во рту сухо. Я подолгу лежу на кровати.

* * *

14 лет, 11 месяцев, 13 дней

Пятница, 23 сентября 1938 года

По дороге в туалет я упал с лестницы. Ее не было дома. У меня синяки на руке, на бедре и на груди. Все болит, особенно больно дышать. За один раз я могу вдохнуть только чуть-чуть воздуха. При каждом вдохе легкие разрываются, будто упаковочная бумага. Роланда отнесла меня в кровать. Мои синяки перепугали ее насмерть. А особенно – шишка на затылке. Господи! Да что же это такое?! Она все твердила: Господи! Да что же это такое?! И вызвала доктора. Я ничего не сломал, разве что, возможно, треснуло ребро. Когда доктор вышел из моей комнаты, раздались крики. Он кричал, что это «недопустимо». Роланда отвечала, что она тут ни при чем. Я тут ни при чем! – повторяла она. Где ваша хозяйка? А я знаю? Я заснул. Меня разбудил дядя Жорж. После каникул он не стал возвращаться в Париж, а остался до конца сентября у Жозефа и Жаннетт. Они вместе с Этьеном ловят бабочек. С ним я поговорил. Сказал ему про пансион. Он нашел эту мысль удачной. У тебя будет полно друзей. Пришла Роланда – сказать ему, что мадам вернулась. Они заперлись в гостиной, но спорили так громко, что я слышал слова и даже целые фразы. Голос дяди Жоржа: Вы – сумасшедшая! Абсолютно! Ее голос: Это мой сын! Голос дяди Жоржа: Это сын Жака! Ее голос: Жак не был отцом! Его голос, очень сердитый: Это мой племянник, и я поступлю как его дядя, можете не сомневаться! Ее голос, все более пронзительный: Вы учите меня, как воспитывать сына? Вы – меня? В моем доме? В моем собственном доме? Хлопнула дверь гостиной, потом – дверь

ее комнаты. Потом наступила долгая тишина, и я снова уснул. Разбудил меня опять дядя Жорж. Он сказал: Пансион я беру на себя, будешь учиться вместе с Этьеном. А теперь что бы ты хотел съесть? Чего тебе больше всего хочется? Я ответил: чашку холодного молока и тартинку с виноградным вареньем. Он принес мне все это на подносе и сказал, чтобы я никогда больше так не поступал: нельзя так шутить с собственным здоровьем. Твое тело – не игрушка! Съешь это и одевайся, я отвезу тебя к Жозефу и Жаннетт.

3
15—19 лет
(1939—1943)

Отныне, когда кто-нибудь из взрослых скажет мне, чтобы я взял себя в руки, я смогу пообещать это, не рискуя его обмануть.

15 лет, 8 месяцев, 4 дня
Среда, 14 июня 1939 года

Похоже, мы устроили огромную глупость. Я во всем виноват. Это был эксперимент. Мне захотелось проверить на опыте, какую роль играют наши пять чувств в момент пробуждения, – это если по-научному. Мы просыпаемся по сигналу, который нам посылает одно из пяти чувств. Например, слух: меня будит хлопнувшая где-то дверь. Или зрение: я открываю глаза в ту самую секунду, когда господин Дамб зажигает в дортуаре свет. Или осязание: когда меня будила мама, она всегда меня встряхивала, правда, это было ни к чему: как только она прикасалась ко мне, я тут же просыпался. Обоняние: Этьен утверждает, что дядя Жорж просыпается от одного только запаха шоколада и поджаренного хлеба. Оставалось только проверить вкус. Можно ли разбудить кого-то, воздействуя на вкус? Так начинался наш эксперимент. Этьен насыпал мне в рот немного соли, и это меня разбудило. На следующий день я насыпал ему между губ щепотку мелко смолотого перца – тот же результат. Тогда я подумал, а что будет, если воздействовать сразу на все пять чувств: слух, осязание, зрение, обоняние и вкус. Какое тогда получится пробуждение? Этьен назвал наш эксперимент тотальным пробуждением. И пожелал непременно стать первым подопытным. Поскольку я тоже этого хотел, мы бросили жребий, и я выиграл. Итак, ему предстояло разбудить меня, произведя одновременно следующие пять действий: окликнуть меня, встряхнуть, ослепить ярким светом, насыпать в рот соли и дать вдохнуть нечто сильнопахнущее. За запахом Этьен спустился в кладовку и стырил там немного нашатыря, которым моют кафель в туалете. Мы провели эксперимент сегодня утром за четверть часа до подъема. Итак – пять чувств, все сразу. Мальмен меня тряс, Руар вливал в рот ложку уксуса, Поммье светил в глаза электрическим фонариком, Зафран совал под нос ватку с нашатырем, а Этьен в это время крикнул мне в ухо мое собственное имя. Кажется, я страшно заорал, и меня как будто парализовало: я застыл с выпученными глазами, напряженный, словно натянутый лук, не в силах произнести ни слова. Этьен пытался меня успокоить, остальные тем временем запрыгнули обратно в кровати. Когда пришел господин Дамб, я пребывал все в том же состоянии. Это продолжалось с полчаса. Позвали доктора. Доктор объявил, что я нахожусь в «состоянии каталепсии» и велел перенести меня в медпункт. Он предположил, что я, возможно, эпилептик, и рекомендовал понаблюдать за мной. После его ухода господин Дамб доложил обо всем господину Влашу, который вызвал Этьена и спросил, что же произошло на самом деле. Этьен поклялся всеми богами, что ничего не знает, что он услышал, как я кричу, будто мне снится кошмар, он попытался привести меня в чувство, но у него ничего не получилось. Влаш отпустил его, но по всему было видно, что он ему не поверил. Сам я ничего не помню. С удивлением очнулся в медпункте порядком оглоушенный. Как будто по мне проехался дорожный каток.

Из всего этого следует вывод: если воздействовать одновременно на все пять чувств спящего, его можно убить.

* * *

16 лет

Вторник, 10 октября 1939 года

Волосы жирные. Перхоть (особенно заметная, когда я в темном пиджаке). На лице – два прыща (один на лбу, другой – на правой щеке). Три черных точки под носом. Соски набухли, особенно правый, на который к тому же больно надавливать. Боль острая, как будто его пронзают иголкой. Интересно, а как с этим у девочек? За год набрал десять кило и вырос на двенадцать сантиметров (руки тоже стали длиннее, что хорошо для бокса, Манес был прав.) Болят колени, даже ночью. Это – потому что я расту. Виолетт говорила, что, как только это кончится, я начну уменьшаться. Вот мое отражение в зеркале душевой. *Я себя не узнаю!* Вернее, у меня такое впечатление, что тот я, который в зеркале, растет сам по себе. Зато мое тело стало для меня предметом любопытства. Интересно, какой сюрприз ожидает меня завтра? Никогда не знаешь, чем тебя удивит твоё тело.

* * *

16 лет, 4 месяца, 27 дней

Пятница, 8 марта 1940 года

Этьен утверждает, что брат Делару ласкает себя, наблюдая за нами, когда мы делаем домашние задания. То, чем мы занимаемся под одеялом, он проделывает под столом. Мне это кажется ни нормальным, ни ненормальным, скорее неуместным, хотя такое, несомненно, довольно часто встречается. Мне бы никогда не пришло в голову дрочить на людях, но можно, думаю, допустить, что опасность усиливает получаемый эффект. Этьен говорит, что брат Делару вынимает что-то из портфеля, может быть, фотографию, во всяком случае, не журнал, потому что формат у этого предмета гораздо меньше, чем у «Парижских удовольствий», и что он смотрит на это и тихонько себя поглаживает. Может, так оно и есть, только проверить это невозможно, потому что брат Делару всегда ставит на стол свой огромный портфель, воздвигая таким образом стену между собой и нами. А Этьен все не унимается: Ну да, честное слово – он делает это правой рукой! Смотри! Потому что он правша. Когда ты правша, левой рукой дрочить никак не получится. Слово специалиста.

* * *

16 лет, 5 месяцев

Воскресенье, 10 марта 1940 года

Руар нокаутировал меня, стоя, в углу ринга. Поскольку я не упал, да и веревки меня поддерживали, он не сразу понял, в каком я состоянии, и продолжал наносить удары, пока я наконец не рухнул. Это был мой первый нокаут (надеюсь, и последний). Интересный опыт. Я даже успел оценить «нырок» Руара: как он присел, согнув колени, наклонил торс, изогнул шею, как поднырнул, обходя мою защиту, и вдруг распрямился, точно пружина. Я был еще взволнован, я восхищался им и как раз подумал, что мне конец, когда он снизу вверх заехал мне кулаком в челюсть. Раздалось характерное «чпок» – как будто мозги у меня вдруг стали жидкими. Пока он дубасил меня, я продолжал слышать все, что говорилось вокруг, только ничего не понимал. Он меня вырубил, подумал я. Потому что, находясь в полубессознательном состоянии, мыслил я довольно ясно, даже рассуждал. Посреди остановившегося времени я думал: Отличный удар, просто блеск! Сила такого удара зависит, естественно,

от скорости взаимного сближения и веса наших тел. И еще: Впредь не будешь думать, что ты самый быстрый. И потом: Если думаешь, что ты быстрее всех, так и будь быстрее всех. Падая, я понимал, что теряю сознание. Сам обморок длился секунд семь-восемь.

* * *

16 лет, 5 месяцев, 1 день

Понедельник, 11 марта 1940 года

Последствия нокаута. Утром на глаза словно что-то давило изнутри. Как будто их выталкивало из орбит. Днем все прошло.

* * *

16 лет, 6 месяцев, 6 дней

Вторник, 16 апреля 1940 года

Вечером в столовой были крутые яйца с коровьей лепешкой из шпината. Мальмен обратил наше внимание на то, что днем подстригали лужайку. И правда. Он утверждает, что так бывает каждый раз. Я не поверил, что нам дают на ужин траву, как коровам, но все равно слова Мальмена так повлияли на мое восприятие, что вкус этого пюре из отварного шпината показался мне совершенно травяным. Как запах, который витает в воздухе над свежескошенными лужайками. Квинтэссенция растительного вкуса. И я уверен, что до конца моих дней вкус шпината останется для меня именно таким. Каким его сделал Мальмен.

* * *

16 лет, 6 месяцев, 9 дней

Пятница, 19 апреля 1940 года

Брат Делару оглаживает себя почем зря в классе для подготовки домашних заданий. Раньше все необходимое (открытки с голыми дамами) было у него с собой в портфеле. Теперь нет. Когда я позвал его в прачечную, чтобы показать протекающую трубу (протечку подстроил я сам), Этьен их стащил. Бедняга не может даже пожаловаться, что его обокрали. Физиономия у него была совершенно опрокинутая: смесь злости, стыда и подозрения. Мы с Этьеном решили использовать этих дам в своих целях. Целых сто двадцать пять штук! Поскольку в дортуаре всегда могут устроить обыск – под разными предлогами, – мы спрятали их в часовне, куда за ними никто не сунется. Время от времени мы достаем оттуда по одной – каждый свою. И любим ее – единственную нашу любовь. До следующего раза.

Интересно, а девочки проделывают то же самое с изображениями мужчин? Например, художественно обнаженные тела Христа или святого Себастьяна вызывают у них такой же экстаз?

* * *

16 лет, 6 месяцев, 15 дней

Четверг, 25 апреля 1940 года

К вопросу о груди (женской). Думаю, на свете нет ничего более соблазнительного, более волнующего, чем женская грудь. Мама часто говорила мне: Из-за тебя у меня был абсцесс груди. Она имела в виду то время, когда сама меня кормила. Это был очень краткий период ее жизни, но она говорила о нем так, словно до сих пор, спустя много лет, все еще

ощущала его последствия. Первым делом меня заинтересовало (я был совсем маленький), что такое абсцесс. Ответ я нашел в словаре (*скопление гноя в ткани или органе*) и попытался представить себе, как выглядит абсцесс груди. У меня ничего не получилось (представить себе гноящуюся сисю было выше моих сил), но я испытал искреннее огорчение. Мне было обидно не за маму, а вообще за женщин с их грудями. Эта столь трогательная часть их тела должна быть очень хрупкой, уязвимой, если беззубый рот младенца может превратить нежный сосок в гнойный нарыв! Хотя, когда Марианна показала мне свои груди и даже разрешила потрогать, они не показались мне такими уж хрупкими. Наоборот, они были круглыми и твердыми, а широкие, нежно-розовые ареолы сидели на них как камиллавка на голове епископа. И поблескивали как перламутровые бутоны. Правда, Марианне тогда было только четырнадцать. Ее грудь еще только формировалась. Судя по открыткам из нашего божественного гарема, с возрастом грудь сильно меняется. Она увеличивается и становится мягче. Ареола, наоборот, как будто уменьшается, соски заостряются и выглядят уже не такими блестящими, зато более мясистыми. Этьен дал мне свою лупу, чтобы разглядеть поближе. Еще они становятся более гибкими и принимают разные формы. Но вот кожа, их кожа, выглядит такой же тонкой, особенно снизу, там, где они крепятся к грудной клетке. Невероятно, чтобы такая прекрасная часть женского тела была наделена какими-то практическими функциями. Что это чудо создано для того, чтобы откармливать каких-то младенцев, которые жадно дергают за него и пускают на него слюни – нет, это просто святотатство! Короче говоря, я обожаю женскую грудь! Во всяком случае, груди наших ста двадцати пяти подружек, то есть *все* груди *всех* женщин, независимо от размера, формы, веса, плотности, цвета. Мне кажется, что мои ладони просто созданы для того, чтобы принимать в себя женские груди, и кожа у меня достаточно нежна для их нежнейшей кожи. Пройдет совсем немного времени, когда я наконец проверю это на деле!

* * *

16 лет, 6 месяцев, 17 дней

Суббота, 27 апреля 1940 года

Монтень, Опыты, том III, глава V:

«В чем повинен перед людьми половой акт – столь естественный, столь насущный и столь оправданный, – что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, – но это запретное слово застывает у нас на языке... Нельзя ли отсюда вывести, что, чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли?»²

* * *

16 лет, 6 месяцев, 18 дней

Воскресенье, 28 апреля 1940 года

Когда я довожу себя до оргазма, самое необычное – это момент, который я называю «эквилибристикой»: миг, когда я вот-вот кончу, но еще не кончил. Сперма уже вот-вот готова излиться, но я удерживаю ее изо всех сил. Кольцо вокруг головки члена краснеет, да и сама

² Цит. по: Мишель Монтень. Опыты. Избранные произведения: В 3 т. М.: Голос, 1992. Т. 3.

головка так набухает, чуть не лопается, что я даже выпускаю член из рук. Я удерживаю сперму изо всех сил и смотрю, как вибрирует мой член. Я стискиваю кулаки, веки, челюсти так сильно, что все мое тело начинает вибрировать вместе с ним. Этот миг я и называю «эквистристикой». Мои глаза возвращаются за закрытыми веками, я дышу часто-часто, прогоняя от себя все возбуждающие картины – груди, бедра, ягодицы, шелковистую кожу наших подружек, – и сперма останавливается в своем жерле, останавливается у самого края кратера. Точно, это похоже на вулкан за секунду до извержения. Нельзя, чтобы лава стекла обратно. Она и правда иногда опускается, когда что-то нас испугнет, например, когда господин Дамб открывает дверь дортуара. А вот это-то и не нужно. Я почти уверен, что разворачивать сперму с полдороги вредно для здоровья. Как только я чувствую, что она начинает отступать, мои пальцы – большой и указательный – обхватывают кольцо, и я пытаюсь удержать ее, кипящую, словно лава, нет, словно древесные соки – настолько член в такие моменты напоминает ветку дерева, напряженную и узловатую! Тут надо соблюдать крайнюю осторожность и четкость, один миллиметр, а то и меньше, решает всё. Член, весь, целиком, становится таким чувствительным, что головка может взорваться от малейшего дуновения, от соприкосновения с простыней. Мне удастся удержаться от семяизвержения еще раз, потом другой, и каждый раз – это дивное удовольствие. Но истинное, абсолютное наслаждение наступает в тот момент, когда я уже не могу ничего удержать, и обжигающая сперма, переливаясь через край, течет по тыльной стороне кисти. Ах, что за чудесное поражение! Это тоже совершенно неопишимо – всё это сокровенное, что изливается вдруг наружу, и наслаждение, которое накрывает тебя с головой. . . Извержение и погружение одновременно! Падение эквистриста в кратер с расплавленной лавой! Ах! Что за чудо эта ослепительная вспышка во тьме! Этьен говорит, что это – «апофеоз».

* * *

16 лет, 6 месяцев, 20 дней

Вторник, 30 апреля 1940 года

И все же есть нечто, бросающее тень позора на этот апофеоз чувства, и это – отвратительные слова, которые употребляются, чтобы говорить о нем. «Дрочить» – тут есть что-то от нервноболезного, «ублажать себя» – звучит просто по-идиотски, «оглаживать» – наводит на мысль о бабушкиной собачке, «мастурбировать» – фу, гадость (есть в этом глаголе, хотя бы и латинском, что-то рыхлое, губчатое), «трогать себя» – вообще ничего не выражает. «Вы себя трогали?» – спрашивает священник на исповеди. Конечно! А как иначе умываться, одеваться? Мы долго обсуждали это с Этьеном и другими ребятами. Мне кажется, я нашел точное выражение: *брать себя в руки*. Отныне, когда кто-нибудь из взрослых посоветует мне взять себя в руки, я смогу пообещать ему это без всякого риска оказаться лжецом.

* * *

16 лет, 6 месяцев, 24 дня

Суббота, 4 мая 1940 года

«Гусёк»³! Отличная идея! Вот что мы сделаем с нашими ста двадцатью пятью красавицами. Самыми красивыми из них мы будем играть. В эротическую настольную игру под

³ «Гусёк» – тип настольных игр, который происходит от игры «Гусь», популярной в средневековой Франции и быстро распространившейся в Европе. В «Гусе» играли на доске, на которой нарисован «jardin de l'oie» («гусиный сад»), разбитый на 63 области, помеченные разными эмблемами, такими как гостиница, череп, мост и лабиринт. Цель игры – довести свою фишку до пункта 63 после серии ходов по незанятым областям, определяемым бросанием двух игральных костей.

названием «Кто первый потеряет девственность». Точно! Так она и будет называться. Тот, кто первым пройдет все шестьдесят три области и выиграет, получит право лишиться невинности. *Вы выиграли. Пожалуйста в бордель.* Играть будем на деньги. Проигрыши пойдут в общую кассу. Чтобы касса быстрее пополнялась, у нас будет клуб из восьми игроков. В него войдут Мальмен, Зафран и Руар: моя идея вызвала у них бурю восторга. Финальная игра пройдет после устного выпускного экзамена, перед самыми летними каникулами. Победитель получит все деньги из кассы с условием, что потратит их на достижение единственной цели – потери девственности. В конце – отчет. Да будет так. Лейтмотивом игры будет служить лицо Моны Лизы, чья загадочная улыбка может трактоваться самыми разными способами.

«КТО ПЕРВЫЙ ПОТЕРЯЕТ ДЕВСТВЕННОСТЬ». ЭРОТИЧЕСКАЯ ИГРА

Правила игры

В игре участвуют две игральные кости.

Кошельки перед началом игры должны быть полными. Каждый игрок бросает кости дважды.

Клетка 2: Сначала подрасти. Пропускаешь три хода.

Клетка 4: Осматривая ваше белье, мама с удивлением замечает на нем подозрительные пятна. Она ведет вас к доктору, который накладывает вам повязку от ночных поллюций. Возвращаетесь на 3-ю клетку, пропускаете два хода.

Клетка 6: Господин Дамб застукал вас с поличным, когда вы в одиночестве предавались запретным утехам. Он отправляет вас в холодный душ. Шаг назад, на 5-ю клетку, пропуск двух ходов.

Клетка 8: Вы совершили в помыслах грех любопытства. Идете исповедоваться на 7-ю клетку, пропускаете один ход.

Клетка 10: Вас смутили ночные видения. Вернитесь на клетку 9 и простирните потихоньку простыню.

Клетка 12: Случайно наткнувшись на ваше испачканное белье, дядя Жорж поздравляет вас с превращением в мужчину. Бросьте кости два раза и продвиньтесь вперед на число клеток, соответствующее выпавшей сумме.

Идем дальше.

Клетка 15 (здесь картинка изображает загадочную улыбку Моны Лизы): Она вам улыбнулась! Ходите снова.

Клетка 19: Чтобы нравиться девочкам, надо быть сильным. Тренируйтесь в спортзале. Платите трешку и пропускаете два хода.

Клетка 21 (Мона Лиза): Она улыбается вам, но это ироничная улыбка. Возвращайтесь со своими мрачными мыслями на клетку 17.

Клетка 23: Чтобы нравиться девочкам, надо хорошо плавать. Вы берете уроки плавания. Платите 4 и пропускаете один ход.

Клетка 27 (Мона Лиза): Вы пытаетесь поцеловать ее и получаете пощечину. Возвращайтесь переживать разочарование на клетку 13.

Клетка 29: Чтобы нравиться девочкам, надо уметь танцевать. Вы берете уроки танцев. Платите 5 и пропускаете один ход.

Клетка 33 (Мона Лиза): Ей кажется, что вы грязный. *Вернитесь на клетку 11 и умойтесь.*

Клетка 39 (Мона Лиза): Она считает, что у вас ужасная прическа. Ступайте к парикмахеру на клетку 31 и заплатите 1.

Клетка 41: Любовь ослепляет. Пропустите один ход, чтобы к вам вернулась пронизательность.

Клетка 43: У вас обложен язык и дурно пахнет изо рта. Очистите желудок и пропустите один ход.

Клетка 45 (Мона Лиза): Ей кажется, что вы плохо одеты. Вернитесь на клетку 37, сшейте себе костюм и заплатите 10.

Клетка 47: У вас на лице появились угри. Подлечитесь и пропустите один ход.

Клетка 51 (Мона Лиза): Она считает вас совершенно необразованным. Вернитесь на клетку 1, чтобы подучиться.

Клетка 53: Прихорашиваясь, вы теряете драгоценное время. Пропустите один ход.

Клетка 57 (Мона Лиза): Никому не говорите, что она вам сделала. Она в восторге, вы – тоже. Вам снова ходить.

Клетка 59: От любви за плечами вырастают крылья. Вам снова ходить.

Клетка 61: Господин Дамб застает вас за этой игрой. Все возвращаются на исходную позицию.

Клетка 63: Вы выиграли, пожалуйста в бордель! Кроме того, вы забираете всю кассу!

Чтобы выиграть, надо попасть точно на клетку 63. Если выпавшая на костях сумма очков уводит вас дальше, вам придется отступить назад на столько клеток, сколько у вас лишних очков.

* * *

16 лет, 7 месяцев, 2 дня

Воскресенье, 12 мая 1940 года

Иногда, когда я просыпаюсь в дортуаре от тоски (чаще всего это случается, когда мне приснится папа или Виолетт), я успокаиваюсь от постепенно овладевающего мною ощущения, что все спящие вокруг меня ребята и я сам составляем одно тело. Одно большое спящее тело, которое дышит, видит сны, постанывает, потеет, почесывается, подергивается, сопит, кашляет, пукает, храпит, пачкает простыни, в ужасе просыпается от кошмара и тут же снова засыпает. Это не чувство товарищества, а впечатление, что с органической точки зрения наш дортуар (а нас в нем шестьдесят два человека) представляет собой единое тело. И если один из нас умрет, большое общее тело будет продолжать жить.

ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН

В скобках замечу, Лизон, что это было написано на следующий день после вторжения немцев 10 мая. Вторая мировая война. Род людской снова взялся за свое. В тот день в память о папе я поклялся, что не приму участия в этом балагане. Как ты увидишь дальше, судьба распорядилась иначе.

* * *

16 лет, 8 месяцев, 13 дней

Воскресенье 23 июня 1940

Навстречу нам попадают сгорбившиеся люди с замедленными движениями и пустым взглядом. У некоторых совершенно потерянный вид. В прямом смысле слова. Это беженцы, оборванные, завшивевшие, небритые, они бредут по улицам незнакомого города.

Мне трудно представить, что еще месяц назад они жили в Париже нормальной жизнью. Брошенные на произвол судьбы тела...

* * *

На следующий день

Финал нашей эротической игры отложен на неопределенный срок. У Руара под Дюнкерком погиб брат. Он его очень любил. Наша девственность подождет, оставим это до лучших времен.

* * *

16 лет, 9 месяцев, 14 дней

Среда, 24 июля 1940 года

Мерак. Я ободрал о кору старого бука грудь, подошвы, внутреннюю сторону рук и ног. В общем, заживо содрал с себя кожу. В буквальном смысле. Как кожуру с яблока. И все из-за Тижо. Ему взбрело в голову достать из гнезда вороненка, но родители птенца воспротивились такому усыновлению. А поскольку Тижо никак не хотел расставаться со своей добычей, те на него просто набросились. Он прижимал птенца к груди, а другой рукой отбивался от родителей. И все это – в добрых шести метрах от земли, сидя верхом на ветке! Марта снизу кричала, чтобы он бросил птенца, а Манес побежал за ружьем – стрелять по воронам. И те и другие защищали свое потомство. Не сомневаясь, что Манес начнет палить, я полез на дерево и добрался до Тижо. Первые три метра я карабкался как обезьяна или как электрик – обхватив голый ствол руками и ногами. Я только что ловил раков, а потому был босиком, в одних плавках. Влезть на дерево не составило никакого труда. У меня было полное впечатление, что я обнимаю живое тело. Во время спуска Тижо своим весом все время оттягивал меня назад, и мне пришлось плотно прижиматься к стволу. Но поскольку Тижо душил меня левой рукой (он так и не пожелал расстаться со своим новым приятелем), я немного ослабил объятия, чтобы ускорить спуск. На этом-то этапе операции я и ободрался о кору. Особенно когда хотел притормозить – уж больно быстро мы спускались. Когда мы добрались до земли, я был весь в крови, а вороненок – мертв: Тижо со своей любовью попросту задушил его. Марта орала как резаная. Он нас угробит! Подумать только, семь лет, а что за ребенок! Само собой разумеется, мне полагалось промыть ссадины водкой. И на этот раз без «слухового обезболивания». Марта – это вам не Виолетт. Пока я вонзал ногти себе в ладони, Манес все грозился устроить своему младшему отпрыску хорошую взбучку, тот же был занят похоронами несчастной жертвы. В конце концов Манес от своей идеи отказался со словами, в которых прозвучала нотка гордости: Вот засранец, ведь ничего же не боится! В результате я сплю голышом, отбросив простыню и одеяло, широко раздвинув ноги, заживо сгорая в паутине нервов. Отныне так я буду представлять себе ад: бесконечное горение без пламени с раскрытыми в бесконечную тьму глазами. Наказание Марсия⁴.

* * *

16 лет, 9 месяцев, 23 дня

Пятница, 2 августа 1940 года

⁴ Марсий – в древнегреческой мифологии сатир, пастух, искусный игрок на флейте, победивший в состязании Аполлона, за что тот приказал живьем содрать с него кожу.

Какое же это все-таки удовольствие – лазать по деревьям! Особенно взбираться на дубы и буки. Все тело раскрывается! Руки, ноги вырывают вас из привычной жизни. Как быстро усваивается эта наука! Как точны движения! Это совсем не так, как бывает, когда поднимаешься на гору, это не альпинизм (мне кажется, что в горах у меня закружилась бы голова), это просто свободное путешествие среди листвы! Где мы? Ни на земле, ни на небе – в самом эпицентре взрыва зелени. Мне бы хотелось жить на деревьях.

* * *

16 лет, 11 месяцев, 6 дней

Понедельник, 16 сентября 1940 года

Когда от долгого сидения над книжками у меня тяжелеет голова, я иду молотить кулаками по мешку. Теперь вместо себя Манес нарисовал на нем Лаваль⁵. Давай! Давай! Сотри его! (Густая челка, тяжелые веки, выпяченная губа, сигарета в углу рта – здорово похож!) Мешковина обдирает косточки пальцев, и я надеваю на руки носки.

* * *

16 лет, 11 месяцев, 10 дней

Пятница, 20 сентября 1940 года

Мерак. Играем в сарае в теннис. Я провел на торцевой стене линию на уровне сетки. Поскольку штукатурка на стенах и пол неровные, никогда не знаешь, как отскочит мячик, для отработки рефлексов лучше и быть не может. Если прибавить к этому прыжки в зерно вместе с Тижо и остальными, погони за норовистыми козами и работу на ферме с совершенно неутомимым Робером, то мое пребывание в Мераче потянет на тренировку какого-нибудь десантника.

* * *

17 лет, 1 месяц, 14 дней

Воскресенье, 24 ноября 1940 года

Манес порезал себе лодыжку валявшейся в соломе косой. Гигиена по Марте и Манесу: водка для промывания раны – это как обычно, а вот для перевязки Манес притащил из конюшни совершенно черную от навоза паутину. Оттягивает, сказал он с присущим ему лаконизмом. Ни о каком столбняке ему, конечно, говорить нет смысла. Все всегда поступали именно так, и никто еще не умер. Могу себе представить, что паутина должна обладать какими-то вяжущими или заживляющими свойствами. Но навоз? Однако следует признать: на сегодняшний день от этих «примочек» в семье еще никто не умер.

* * *

17 лет, 2 месяца, 17 дней

Пятница, 27 декабря 1940 года

Дядя Жорж, будучи проездом в Мераче, спросил меня, не хотел бы я стать врачом. (Этот путь избрал твой кузен Этьен.) Только не я. Заниматься телесными неполадками? Бла-

⁵ Пьер Лаваль (1883—1945) – французский политик-социалист. Во время Второй мировой войны активный деятель коллаборационистского правительства Виши и его глава (премьер-министр) с 1942-го по 1944 год.

годарю покорно! У меня самого их было предостаточно, я с этого и начал. Что касается лечения людей... Прежде надо потратить кучу времени, чтобы выбить у них из головы все, что они напридумывали себе про тело, которое рассматривают исключительно с точки зрения морали. Мне не хватит терпения, чтобы объяснить тете Нозми, что вопрос не в том, «заслужила» она или нет свою эмфизему легких. Ну а что же тебя интересует в жизни? – спрашивает меня дядюшка. Наблюдение за собственным телом, которое мне глубоко чуждо. (Этого я ему, разумеется, не говорю.) И изучение медицины, даже самое углубленное, не избавит меня от этого ощущения. В общем, я хочу заниматься примерно тем, чем занимался во время своих прогулок Руссо: собирать травы. Собирать до последнего дня и только для себя, не теряя надежды, что это пригодится кому-нибудь еще. Что же касается профессии – это совсем другое дело. В любом случае в этом дневнике для нее не будет места.

* * *

17 лет, 5 месяцев, 8 дней

Вторник, 18 марта 1941 года

Вчера мы с Этьеном здорово поругались, и все из-за Вольтера и Руссо: он насмеялся над Жан-Жаком, а я его защищал. От этой ссоры в памяти у меня останутся не наши аргументы (честно говоря, аргументировать нам было особо нечем), а произвольное движение Этьена, когда он схватил с доски длинную линейку и упер ее одним концом себе в живот, а другим – мне. Каждый раз, когда кто-нибудь из нас в пылу спора начинал наступать на другого, линейка врезалась в живот нам обоим. Больно! Если же мы отступали назад, линейка падала. Конец дискуссии. Это и называется соблюдать меру в споре. Прямо хоть патентуй способ.

* * *

17 лет, 5 месяцев, 11 дней

Пятница, 21 марта 1941 года

Желание овладевает мной иногда в самые неожиданные моменты. Например, когда меня возбуждает то, что я читаю. Набухание пещеристых тел, стимулируемое нейронами! Я читаю, и у меня встает. Причем речь не об Аполлинере или Пьере Луи, которые любезно преподносят нам такие подарки, а о Руссо, например, который очень бы удивился, узнав, что чтение его «Общественного договора» вызывает у меня эрекцию! И – хоп! – маленький оргазм исключительно силой разума.

* * *

18 лет, 9 месяцев, 5 дней

Среда, 15 июля 1942 года

Пока готовился к выпускным экзаменам и учился на подготовительном курсе, ничего не писал. Тело самоустранилось. Для разрядки немного занимался боксом, гонял мяч и плавал. Немного помогал Манесу в поле. Три отёла, шесть окотов. По-прежнему не могу зарезать поросенка. Есть могу, убить – нет. Бедняга приходил ко мне ласкаться, когда я вкалывал. Ох уж эта тупая вера животного в человека...

* * *

*18 лет, 9 месяцев, 25 дней**Вторник, 4 августа 1942 года*

Теннис: разгромил вчистую всех трех братьев Де Г. За три партии по шесть сетов ни одному из них не удалось выиграть больше двух раз. Все началось с унижения. Старший поправил меня относительно употребления частицы «де», заметив, что, когда речь идет об аристократической семье, надо говорить не «Де Г.», а просто «Г.»: этого требует хорошее воспитание. И вообще, все это знают! Ладно. Еще: у меня не было ни шортов, ни теннисных туфель, а играть в моих «тряпках» против одетых с иголки партнеров просто «неприлично», пусть даже на частном корте (в данном случае корт был их). Так что они выдали мне требуемое обмундирование: шорты, рубашку, туфли, все – белоснежное. Я подпоясал шорты (они что, нарочно дали мне слишком большие?) обрывком бельевой веревки, найденной в «службах», и закатил всем троим настоящее побоище. Отпрыски герцога Монморанси, разгромленные последним из плебеев! Что стоило мне возможной любви их сестры, к которой я был неравнодушен. Ну и пусть, зато я отомстил за Виолетт, которая (братья этого не знали) в юности работала на эту семью и которую выгнали за то, что она лишила невинности тридцатидвухлетнего (!) кузена. (Нарочно не придумаешь.)

За всю игру меня не покидало волнующее ощущение, что мое тело – это единственное, что я могу противопоставить их фанаберии. И тело даже не обученное – потому что меня никто не учил играть в теннис. Сарай Манеса и наблюдение за другими игроками – вот и вся моя наука. Когда лупишь по мячу, никогда этому не учившись, чувствуешь, как тело само применяется к обстоятельствам. Мои движения были беспорядочны и большей частью неверны, ужасны с эстетической точки зрения и расточительны в смысле излишней траты энергии (я суеился, подпрыгивал, тело меня не слушалось, я размахивал руками и ногами, выполнял какие-то нелепые акробатические па), но осознание самого факта, что эти движения не имеют никакого отношения к «умению играть», давало мне острое чувство физической свободы и постоянного обновления: каждое мое движение было новым, другим! Каждый сюрприз, который взгляд преподносит моим ногам и моей ракетке, я использую с выгодой для себя. Мои движения не заучены, не подготовлены заранее, они не похожи одно на другое и не имеют никакого отношения к скупому академическому стилю, в котором играют мои противники. А потому я для них совершенно непредсказуем, мои мячи неожиданны для них, они приводят их в замешательство. Братья возмущаются, раздраженно-снисходительно возводят очи горе, негодуя по поводу некоторых моих особенно вялых мячей, как будто я воюю, нарушая все правила военной науки. Я же поражаюсь своей проворности, гибкости, ловкости, быстроте реакции (с какой уверенностью и точностью в какую-то долю секунды я бью по мячу!), в довершение всего я совершенно неустоим и отбиваю все мячи. Эта свобода владения собственным телом приводит меня в восторг. Мои выходы деморализуют противников, их самодовольство разваливается прямо на глазах, что доставляет мне несказанную радость. И дело тут не в моей победе, а в том, с каким видом они принимают свое поражение. Под Вальми⁶ нам уже не доставало манер. (А я и до сих пор остаюсь беспорочным санкюлотом.) Клянусь: жить во всем так, как я играю в теннис!

⁶ Намек на битву при Вальми (деревушка в Северной Франции), произошедшую 20 сентября 1792 года в ходе Войны первой коалиции и ставшую частью французских революционных войн. После победы при Вальми декретом Национального Конвента была упразднена монархия.

* * *

19 лет, 15 дней

Воскресенье, 25 октября 1942 года

Дело происходит в бистро. Вы – с девушкой, такой же студенткой, как вы сами. Вы строите друг другу глазки. И вдруг ни с того ни с сего она говорит: Дай взглянуть на твою ладонь. По-хозяйски завладев вашей рукой, она начинает с предельным вниманием разглядывать ладонь, как будто все, что ей нужно знать о вас, заключено в этих линиях – жизни, сердца, головы, счастья, чего там еще? Много, много девушек на сегодняшний день изучали линии моей руки. И нет ни одной, чьи выводы совпали бы с выводами остальных. Все они – ясновидящие, только вот ясно видят разное. Интересно, склонность к предрассудкам, что это – знак нашего поганого времени? Все потеряно, остались только звезды? Главный критерий отбора: надо искать девушку, которая бросится в мою ладонь с закрытыми глазами.

* * *

19 лет, 1 месяц, 2 дня

Четверг, 12 ноября 1942 года

Видел, как маршируют боши. Отвратительный вариант единого тела.

* * *

19 лет, 2 месяца, 17 дней

Воскресенье, 27 декабря 1942 года

Полная неспособность к танцам. Меня уже пытались учить Франсуаз, Марианна и другие, да и вчера у Эрве его сестра, потрясающая Виолен. Дайте я поведу, не сопротивляйтесь. Что тут поделывать? Почти сразу я сбиваюсь с такта, и мое тело в руках партнерши превращается в чугунную тумбу. Я нелепо подпрыгиваю, чтобы наверстать ритм, и окончательно теряюсь. Танец – один из немногих видов деятельности, где мое тело никак не желает работать в унисон с сознанием. Точнее, нижняя половина тела: руки могут отбивать такт сколько угодно, а вот ноги подчиняться отказываются. Дирижер-паралитик – вот кто я такой. Что касается головы, то, как только ситуация усложняется, она начинает кружиться. А ведь танец сам по себе предполагает вращение, это такое искусство – сплошное кружение, нельзя танцевать, не кружась вокруг собственной оси. А тут – головокружение, тошнота, бледность... Что с вами, вам нехорошо? Все отлично, дорогая Виолен, но пойдёмте, поболтаем немножко, и вот я уже пытаюсь объяснить прекрасной Виолен ситуацию, на что она изрекает: ну что вы, все же танцуют! Очевидно, кроме меня. Вы просто не хотите! Скажите пожалуйста! С чего бы это мне лишать себя такого козыря, когда я вижу, какую выгоду для себя извлекают из танцев мои товарищи? Вы слишком много думаете, напрягаетесь, побольше свободы, дикости. Дикости? О боже! В койку, немедленно в койку! Но вместо этого я слышу свой голос, поясняющий Виолен, что я и сам не понимаю природы этого явления, учитывая, что в иных обстоятельствах, требующих владения руками и ногами, например в боксе или теннисе, все мои четыре конечности действуют в идеальной слаженности друг с другом, и что в юности, когда мы играли в вышибалы, мои одноклассники чуть не дрались между собой, чтобы попасть со мной в одну команду, потому что я был действительно непобедим, и начинаю впаривать этой потрясающей девушке, каким асом по вышибалам я был в пятнадцатилетнем возрасте, и говорю себе: заткнись, идиот, а сам продолжаю расписывать прелести этой игры,

которая требует такой физической подготовки, такого владения руками, ногами и головой, такой идеальной слаженности всех движений, что однажды, не сомневайтесь, дорогая Виолен, станет командным видом спорта, по сравнению с которым футбол будет казаться просто развлечением для простофиль, да что это с тобой, что ты порешишь, идиот несчастный? Ты расстроился, что несколько минут играл роль мешка с цементом в руках этой роскошной красавицы, которую только и думаешь, как бы уложить в койку, и теперь достаешь ее своими вышибалами, «вы и представить себе не можете, дорогая Виолен, сколько эта игра ставит стратегических и тактических задач», да заткнись же ты, дурья башка, это же не игра, а сплошное безобразие, куча мала, где прыщавые подростки распяляются и самоутверждаются, посылая мячи друг другу прямо в морду, вот уж где дикости хоть отбавляй, и если ты и правда блистал на этом поприще, вряд ли такой козырь поможет тебе затащить в постель эту девушку, которая, впрочем, уже и так удаляется в неизвестном направлении со словами, что от твоих спортивных подвигов ей захотелось пить, и она пойдет нальет себе чего-нибудь.

* * *

19 лет, 2 месяца, 19 дней

Вторник, 29 декабря 1942 года

И все же она пришла. В тот же вечер. И это вышло еще хуже танцев. Я был в своей комнате, у Эрве, поздно ночью, дом наконец уснул, я сидел у шахматного столика и записывал душераздирающий рассказ о танцах, когда за спиной у меня открылась дверь, тихо-тихо, так, что я услышал только, как она закрылась, отчего и обернулся и увидел ее в ночной рубашке, белое органди или что-то в этом роде, одно плечо открыто на манер греческих туник, а на другом тоненькая бретелька завязана бантиком, петельки которого казались крылышками мотылька, она не говорила ни слова, не улыбалась, только смотрела на меня тяжелым взглядом, а я и сам сразу лишился дара речи, округлые плечи, длинные, тонкие руки, повисшие вдоль бедер точеные кисти, босые ноги, частое дыхание, высокая, полная грудь, ночная рубашка, отвесно ниспадающая с острых сосков и образующая пустое пространство между обнаженным телом и тканью, мои глаза стали лихорадочно искать очертания ее бедер, живота, всей фигуры, но стоявшая рядом со мной настольная лампа не позволяла смотреть на просвет, ее надо было бы поместить у нее за спиной, чтобы проступил весь силуэт, сначала я думал только об этом, о том, что лампа стоит неправильно, что она не дает смотреть на просвет, вот если бы она стояла за ней, все было бы совсем иначе, мы оба не шевелились, я не сделал ни единого движения в ее сторону, она стояла спиной к закрывшейся двери, а я сидел в три четверти оборота к ней, не убирая со стола руки, закрывавшей на ощупь тетрадку, чернила на перышке высохнут, подумал я, да, я думал об этом, о том, что мне не закрыть ручку, а сам все пытался разглядеть силуэт Виолен под полупрозрачной тканью, от белизны которой мне стало больно в глазах, и тут я увидел, как ее левая рука стала подниматься вдоль груди, как, добравшись до плеча, пальцы разогнулись, большой и указательный взяли за кончик бретельки и, легонько потянув, развязали бантик, и рубашка тяжело упала к ее ногам, открыв ее обнаженное тело, не думаю, что когда-нибудь еще увижу такое красивое женское тело, внезапно представшее предо мной в золотом свете лампы, боже, какая красота, какая красота, твержу я, если бы в этот момент свет навсегда погас, я умер бы, сохранив воспоминание об этой красоте, мне кажется, что я чуть не закричал в голос, так и не встав со стула, абсолютно парализованный от неожиданности и восхищения, какая красота, какое совершенство, мне кажется, я даже испытал чувство благодарности, никто никогда не делал мне такого подарка, я подумал и об этом тоже, но не пошевелил и пальцем, а она как раз шевелилась: пошла к кровати и легла, не сделав ни единого знака, чтобы я подошел, не протянула мне рук, не заговорила, не улыбнулась, она ждала, что я подойду, что я в конце концов

и сделал, подошел к ней и встал у изголовья, не в силах оторвать от нее глаз, надо раздеться, сказал я себе, теперь твоя очередь, чту я и сделал, неуклюже, украдкой, повернувшись к ней спиной, сев на краешек постели, не столько разоблачаясь перед ней, сколько прячась, и когда дело было сделано, я пристроился к ней под бочок, и ничего не произошло, я не стал ее ни ласкать, ни целовать, потому что во мне что-то умерло или не захотело родиться, что одно и то же, потому что мое сердце закачивало кровь по всем местам, только не туда, куда надо, она жгла огнем мои щеки, была фонтаном внутри черепа, бешено стучала в висках, а между ног – ни капли, я даже не думал о том, что у меня не встает, я просто ничего там не чувствовал, все мысли мои были только об этом небытии, образовавшемся у меня между ног, надо сказать, что она мне не помогала, ни словом, ни жестом, потом вдруг резко встала, и я услышал, как за ней затворилась дверь.

* * *

19 лет, 2 месяца, 21 день

Четверг, 31 декабря 1942 года

Фиаско, которое я потерпел с Виолен, дало сигнал к подведению итогов. Заехав домой, я раздеваюсь донага и, встав перед зеркальным шкафом, подытоживаю, чего я добился по сравнению с детством в деле систематического строительства собственного тела. Никаких сомнений, мои неистовые отжимания, качания и всевозможные физические упражнения сделали свое дело: я стал на что-то похож. А именно: на экорше из «Ларусса», которое – вот оно, по-прежнему вставлено в щелку зеркала. Произведенное сравнение показало, что все мои мышцы находятся на положенных им местах и прекрасно видны: вот большие грудные, вот – бицепсы, дельтовидные, брюшной пресс, лучевые разгибатели кистей, большеберцовые, и, если повернуться спиной к зеркалу, икроножные, сгибатели пальцев, ягодичные, большие спинные, плечевые, трапециевидные, – все тут как тут, экорше – вылитый я, вот здорово, не зря я вертелся перед зеркалом. Я, который был «ни на что не похож», теперь похож на картинку из энциклопедии! Добавим, что я больше не боюсь. Ничего. Даже не боюсь испугаться. Нет больше такого страха, который я не смог бы подчинить своей воле, той самой, которая вылепила это тело. Попробуйте теперь отнять у меня жизнь, попробуйте привязать к дереву! Да, да, конечно, приятель, только вот этот шедевр умственного и физического равновесия оказался ни на что не годен, когда ты уложил его рядом с прекрасной Виолен. Бедняга, ты и впрямь ни на что не похож. Иди-ка и займись снова своей гимнастикой и дорогой твоему сердцу учебой, работай над телом, готовься к экзаменам, только на это ты и годен – «поддерживать себя в форме» да «стать кем-то». Господи, что же это за чувство, которое охватывает мужчину, когда у него не стоит. Полное *небытие*! А ведь сколько раз я брал свой член в руки! Сколько раз желание превращало его в каменное изваяние! А и правда, сколько же раз? Сто? Тысячу? Опутанную венами ветку, которая наполнялась кровью при одной мысли о чем-нибудь таком! Сколько спермы исторгалось из его глубин во время этих девственных извержений! Это тоже можно, наверно, сосчитать. Литры? Литры, пролитые в минуты сладострастия перед открытками, стыренными у бедного брата Делару. А в итоге – мертвое тело в постели Виолен. Даже потанцевать и то не смог. Сначала – посмешище, а потом – и вовсе мертвец. Ну и что тебя парализовало, дружок, что, как не страх, победой над которым ты так похваляешься? Такими словами, может, более путано, а может, менее, я обращался в то утро сам к себе, стоя нагишом перед зеркалом, лицом к лицу с экорше из энциклопедии Ларусса. А в следующий раз? Что будет в следующий раз? С какими мыслями и чувствами твое тело осмелится в следующий раз приблизиться к телу женщины? Вот о чем спрашивал я себя в то утро, вот о чем пишу сейчас, по-прежнему глядя на экорше. И вдруг в глаза мне бросилась одна деталь: у экорше-то между ног тоже ничего нет! Ни намека

ни на член, ни на яйца! Есть только ближайшие поясничная и гребешковая мышцы, но они не имеют к этим органам никакого отношения. У экорше между ног ничего нет! Хорошо, половой член – это не мышца. Пусть. А что это? Орган? Пятая конечность? И какова структура этой конечности? Пористая? Как губка, пропитанная кровью. Так вот у экорше, представляющего кровеносную систему, на этом месте тоже ничего нет! Все тело до самого паха опутано кровеносными сосудами, а про то, как кровь наполняет жизнью орган, созданный для ее, жизни, продолжения, – ни гугу! Между ног – пусто! Очевидно, «Ларусс» член не жалуется. Как постыдную часть тела. Гримасу Святого Духа. Вот и разберись с этим. Господин Ларусс-то – евнух.

* * *

19 лет, 2 месяца, 22 дня

Пятница, 1 января 1943 года

Забыл сказать. Открыв дверь моей комнаты и застав меня голым перед зеркалом, мама спросила: «Это еще что такое? Любуешься своей красотой?»

* * *

19 лет, 2 месяца, 24 дня

Воскресенье, 3 января 1943 года

Мужской половой орган: пенис, член, конец, пипка, фаллос, щекотун, причинное место, болт и т.д. Яички: яйца, железы, помидоры, яблоки, орехи и т.п. Сколько слов для определения детородных органов, изображение которых, видите ли, вызывает у физиологов отторжение.

* * *

19 лет, 3 месяца, 4 дня

Четверг, 14 января 1943 года

Неожиданный финал истории с Виолен. Все началось с перепалки на улице с Этьеном, который назвал мое поведение с сестрой его друга Эрве «не поддающимся определению». Затащить девушку в койку и даже не прикоснуться к ней? Ты понимаешь, до какой степени это унижительно? И потом, как мне было смотреть в глаза Эрве? Ведь это по моей просьбе он тебя пригласил! Этьен был вне себя, а мне так и хотелось заехать ему в морду. К счастью, одна из его фраз удержала меня от этого. Конечно, она не красавица, эта девица, так тем более! Раньше надо было думать, ты же не первый раз ее видишь! Она уже несколько месяцев по тебе сохнет. А теперь уже несколько дней, как ревет. Эрве готов был тебя просто убить, старик, я едва его успокоил! Не красавица? Виолен? Ну да, Виолен считает себя дурнушкой, ей кажется, что у нее некрасивое, слишком плоское лицо, как у карпа, – так она сама говорит, и цвет лица слишком блеклый, это уже говорит ее брат. А что, тебе она не показалась страшноватой? Виолен – дурнушка! Конечно же, я так не считаю. Да нет же, нет! Господи, и эта красавица убеждена, что была отвергнута из-за своего уродства! И во всем виноват я! Ранил ее до слез! Виолен страдает в одиночестве перед зеркалом! Совсем как я! Тот же стыд, тот же ужас, то же неведение и одиночество – все как у меня?

* * *

19 лет, 3 месяца, 6 дней

Суббота, 16 января 1943 года

В тот вечер, движимый похвальным желанием разбить лед в наших отношениях, Этьен отметил парадоксальность и комизм сложившейся ситуации: брат в ярости от того, что кто-то не обесчестил его сестру! Очень современно, однако! И тут я все ему выложил, начистоту. Он со знанием дела заключил: Девственник провалился? Так сделай как все – иди в бордель, это отличная школа! А ты сам ходил? Нет. А Руар? Тоже нет. А Мальмен? Он говорит, что не захотел, потому что проститутка оказалась сторонницей Петена.

На этом все и остановилось.

ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН

Милая моя Лизон!

На этот раз – заметка по контексту. «В то самое время», как говорится в твоих детских комиксах, а именно 3 января, в Старом Порту Марселя происходили знаменитые теракты. Одна бомба взорвалась в борделе для немецких солдат, другая – в обеденном зале отеля «Сплендид». Множество жертв. За этим последовали облавы, после которых исчез мой друг Зафран, потом немцы взорвали квартал Панье: было разрушено полторы тысячи домов, а у меня на некоторое время оказалась повреждена левая барабанная перепонка. В конце января была создана Французская милиция⁷, а с февраля людей начали угонять в Германию на принудительные работы. Тем, кого такие усугубившиеся обстоятельства вгоняли в депрессию, Этьен пояснял, что, наоборот, видит в них признак решающего поворота в ходе войны. Боши нервничают, это – начало конца. И он был прав.

* * *

19 лет, 6 месяцев, 9 дней

⁷ Французская милиция – военные соединения, созданные коллаборационистским правительством Виши во время Второй мировой войны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.